

# Долгий российский конституционный век. Революция 1917 года: социальный миф и логика развития политического режима

**Игорь КЛЯМКИН:**

Добрый вечер, коллеги. Сегодня послушаем и обсудим доклад Андрея Николаевича Медушевского. Это второе наше собрание, соотнесенное со столетием российских революций. Если первое было посвящено Февралю, то сегодняшнее будет посвящено не Февралю и не Октябрю, а тому и другому событию, плюс еще 74 годам советской власти и плюс постсоветской эволюции страны. Будем обсуждать практически весь столетний период, начиная с февраля 1917 года.

У Андрея Николаевича свой угол зрения на это столетие, который он представил в только что вышедшей книге и, насколько понимаю, воспроизведет его в докладе. Он рассматривает эти сто лет с точки зрения эволюции конституционно-правовых или квазиправовых систем, включая нынешнюю, узаконенную Конституцией 1993 года, и пытается очертить перспективы выхода из ситуации, которая в целом, насколько я понимаю, оценивается им как незавершенная.

Не знаю, сумеет ли докладчик в отведенное ему время представить сколько-нибудь полно эмпирический материал, содержащийся в его монографии. Поэтому сразу хочу сказать, что материал этот очень богатый, и потому рекомендую коллегам, интересующимся рассматриваемым в монографии периодом, с ней ознакомиться. В частности, я обратил внимание на правовые документы периода подготовки Учредительного собрания, где представлены позиции всех основных политических сил, все конституционные проекты, которые тогда предлагались. И по другим периодам много интересных материалов тоже, в том числе архивных, введенных Андреем Николаевичем в научный оборот.

Порядок нашей работы обычный: выступление основного докладчика, потом вопросы к нему, потом выступления нескольких оппонентов, потом общая дискуссия. Прошу вас, Андрей Николаевич!

**Андрей МЕДУШЕВСКИЙ (профессор департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ):**

**«Всякая революция длится столько времени, сколько действует созданная ею легитимирующая формула власти»**

Уважаемые дамы и господа, я хотел бы представить вам мою новую книгу – «Политическая история русской революции: нормы, институты, формы социальной мобилизации в XX веке». Она вышла в издательстве «Центр гуманитарных инициатив». Кратко изложу ее суть и основные выводы. Если возникнут вопросы, постараюсь ответить. Кроме того, готов направить всем желающим электронный вариант книги.

Мне представляется, что типология революций позволяет разделить их на те, которые

завершились демократической консолидацией общества, и те, которые не смогли решить эту задачу. Русская революция по причинам возникновения и формальным признакам начальной стадии ее протекания вполне вписывается в известную формулу Токвиля. А именно: революции происходят тогда, когда период экономического и политического подъема, сопровождающийся ростом общественных ожиданий, сменяется периодом спада, при том что ожидания продолжают расти. Следствием становится рост недовольства в обществе – фрустрация, а основным способом ее преодоления – социальная агрессия.

Данная логика приводит к свержению Старого порядка и делегированию власти от умеренных к радикалам. Начавшись, революция не может остановиться на середине и завершается лишь с исчерпанием своего деструктивного потенциала. В результате на смену ей приходит Реставрация – частичное восстановление старого режима в новых формах.

Результат, который получила Россия после завершения революционного цикла, оказался совершенно не похож на результат классических, или так называемых «буржуазных», революций, происшедших в Европе в XVII– начале XX веках. В России не возникли ни гражданское общество, ни правовое государство, а произошла насильственная и антиправовая модернизация в форме ретрадиционализации. Даже простая констатация этого факта – проблема, которая до сих пор не решена, явление, которое требует объяснений. Здесь нужны, по-видимому, и новая методология, и новый взгляд.

Я использую когнитивно-информационный подход, или метод когнитивной истории. То есть пытаюсь реконструировать информационный потенциал эпохи революции, смысл, который вкладывался современниками в социальное проектирование и определял мотивацию поведения. Когнитивное освоение реальности в ходе революции – для меня движение общественного сознания от хаоса к порядку. Конструирование картины мира в сознании общества происходит по мере утверждения нового политического устройства, закрепляемого в правилах и нормах, а также в понятиях и символах как системах кодирования информации. Этот процесс создания правил, норм и поведенческих установок определяет параметры социальной и когнитивной адаптации индивидов в меняющейся ситуации. Он носит характер целенаправленной деятельности и выражается в фиксации новых ценностей, норм, институтов в программных идеологических документах, юридических актах, установках социальной практики.

В концентрированном виде процесс преодоления революционного хаоса и создания новой картины мира, на мой взгляд, выражается в юридическом конструировании реальности – в частности, в последовательном создании конституций, служивших узаконенными моделями реорганизации общества в соответствии с принятой идеологией.

Данный подход определил общую идею исследования – раскрыть логику русского революционного процесса в исторической длительности (на протяжении действия революционной формулы), в сравнительной перспективе, то есть в ряду крупных революций прошлого и современности, и в функциональном контексте (механизмы принятия стратегических политико-правовых решений) исходя из реконструкции смысла конституционных принципов, их позитивации в праве и функционирования в политическом процессе. При этом я стремился понять и показать, на каких этапах произошли сбои, почему была принята одна модель политической системы, а не другая, какие вводились институты. Короче, я рассматриваю революцию как процесс конструирования социальной реальности, результаты которого зависят от того, какие когнитивные схемы (программы фиксации смыслов происходящих процессов в сознании

индивидов и общества) использовали участники событий, как они действовали на практике и достигался ли тот либо иной результат.

Вариативность революционного процесса определяется, следовательно, тем, в какой мере новой политической элите удастся обуздать революционную стихию и добиться последовательной и рациональной институционализации социальных изменений. Иначе говоря, создать функционирующую правовую систему. В мировой истории мы видим два варианта выхода из революционных кризисов. Один – когда новая политико-правовая система утверждается и успешно функционирует в долгосрочной перспективе. И другой – когда революционный режим оказывается не способен решить эту задачу. То есть не может преодолеть когнитивный диссонанс в обществе, восстановить стабильность, разрешить конфликт права и справедливости, создать новую систему норм, институтов и практик, обеспечивающую поступательное развитие. В таком случае власть прибегает к принятию суррогатных, имитационных или гибридных вариантов институциональной стабильности, пролонгирующих конфликт с неопределенной перспективой его разрешения.

Таким образом, я отрицаю детерминизм (будь то исторический, экономический, социальный, демографический или политический), по-прежнему присущий многим исследованиям эпохи революции. И говорю о вариативности социальных процессов и моделей социального конструирования. В центре книги – ситуация выбора и коммуникативные факторы, определявшие этот выбор на переломных (когнитивно значимых) этапах революционного процесса.

Поясню еще раз, что под революцией я понимаю радикальные изменения информационной картины мира – сознания, понимания и установок, – преодоление когнитивного диссонанса общества путем насильственного изменения государственного строя, политической (а не юридической только) конституции и легитимирующей формулы власти. Этот подход, как мне представляется, может быть положен в основу новой периодизации революции. Я не склонен принимать те варианты периодизации, которые существуют и которые основаны на экономических, социальных, а также на политических факторах. Я исхожу из того, что всякая революция длится столько времени, сколько действует созданная ею легитимирующая формула власти (революционного политического режима). Если мы принимаем такой критерий периодизации по отношению к России, то получается, что революция длится с 1917-го до 1991 года, то есть охватывает собой всё время, когда существовали советская система, однопартийная диктатура и легитимирующие ее основания.

В основе такой интерпретации – то, что я называю долгим российским конституционным веком: период от крушения самодержавия и его легитимирующей формулы до основания современного постсоветского конституционного порядка. Я вообще хотел написать конституционную историю революции, хотя это может показаться противоречием (ибо революция и конституция формально несовместимы). Но, по существу, речь идет именно об этом – о выяснении, каким образом революционные идеи определяют порядок правового конструирования, его этапы и результаты. Книга – попытка выявить устойчивые линии развития российского и советского конституционализма, от имперского периода до нашего времени, и показать, какова, собственно, роль в этом процессе революционной картины мира (с учетом ее собственной динамики).

Работая над книгой, я обращался к архивам российских конституционных комиссий – начиная с проектов предреволюционного периода до программы Временного правительства и Учредительного собрания, а также комиссий, готовивших тексты

конституций 1918-го, 1924-го, 1936-го, 1964-го, 1977 годов. Изучал и проекты конституций, относящиеся к эпохе перестройки (1985–1991 годы), и, наконец, проекты конституционной революции 1993 года, заложившей основы современного конституционно-правового устройства. В числе источников, которые я использовал, идеологические манифесты, программные заявления политических партий, воспоминания государственных и политических деятелей и другие документы. Хотелось найти ответы на ряд вопросов формирования и развития революционного проекта социального конструирования, которые поставлены в современной социологии и в российской историографии.

Важнейшие из таких вопросов – как происходили формирование революционного мифа и его фиксация в идеологических программах и конституциях, каковы результаты его реализации для политической системы на протяжении ее существования. В центре книги процесс выработки правил, норм и поведенческих установок, а также их последующих модификаций, который определил параметры социальной и когнитивной адаптации индивидов на разных стадиях революционной трансформации общества – от ее начала до завершения, то есть до полного исчерпания созданной революцией легитимирующей формулы власти.

Итак, какой миф был положен в основу социального конструирования? Напомню, что миф – это система представлений или символов, основанных на вере, а не на знании. Содержание мифа русской революции определялось постулатами утопической коммунистической идеологии (она обозначалась как марксизм–ленинизм). Структура мифа была вполне логична, поскольку она соответствует, в сущности, религиозному мифу. Очевидна и его социальная функция – поддержание легитимности однопартийной диктатуры. Коммунизм как идеология нового времени носит ретроспективный характер. Идеал коммунизма (всеобщее равенство) коренится в древности, ибо равенство существовало только в эпоху «первобытного коммунизма», до дифференциации общества в результате технологического развития. Согласно учению коммунизма, равенство надо восстановить в будущем. Таким образом, будущее моделируется на основании прошлого – в его идеализированной и романтической интерпретации.

Понятно, что этот миф получил широкое распространение в XX веке, когда встал вопрос о переходе от традиционного общества к индустриальному в глобальном масштабе. Утопия охватила своим влиянием практически половину человечества. При этом более других ее очарованию поддавались традиционные аграрные страны с их неподвижной социальной структурой, господством крестьянской общины, свойственными крестьянству и окрашенными религиозными стереотипами представлениями о равенстве, коллективизме и социальной справедливости. Столкновение с необходимостью быстрой социальной модернизации для таких стран было драматично и болезненно.

Именно в таких регионах мира коммунистический миф в его большевистской версии был положен в основу политических режимов, легитимирующих формул власти и социальных экспериментов, которые последовательно и безжалостно проводились во многих странах. Этот миф господствовал и в советской России, а во многом сохраняет влияние и ныне.

Я выделяю несколько основных модификаций данного мифа в России XX столетия. Имеются в виду его интерпретации сторонниками революции (верившими в ее немедленное торжество во всемирном масштабе), их противниками (контрреволюционерами, понимавшими Октябрь как российскую и глобальную катастрофу), новая его редакция (в связи с провалом концепции мировой революции) в период сталинизма. Еще одна версия предложена хрущевской оттепелью, а затем и

перестройкой; в основу тогда была положена идея возврата к аутентичной трактовке, будто бы искаженной при Сталине. Наконец, можно говорить о либеральном мифе как зеркальном отражении коммунистического (антимифе). Он утвердился в 90-х годах, и суть его состоит в представлении, что отказ от коммунизма приведет к немедленной победе либерально-демократического строя.

У этих модификаций одного мифа, при существенной разнице (вплоть до противоположности в его оценках) общий фундаментальный признак: все они основаны на вере, выдают надежды и социальные устремления за доказанные истины, склонны к агрессивному отрицанию критических аргументов, используют чрезвычайно размытые определения, не поддающиеся научной верификации. Задача науки – доказательно проанализировать этот господствовавший долгое время миф и понять, какова имманентная логика его развития, установить тот нерв, который определяет динамику и смену его обликов. В книге показано, что в основе пересмотра мифа лежит естественный процесс рутинизации революционной харизмы, движение от утопии к реальности по мере остывания революционной лавы.

Такой подход позволяет ответить на второй вопрос, а именно: определить особенности советской модели социального конструирования. Важнейшие факторы здесь, полагаю, идеология, право и структура коммуникаций. Очевидно, что идеология обладала приоритетом над правом. Четыре партийные программы (1903-го, 1919-го, 1961 годов и, новая редакция, 1986 года) лежали в основе советских конституций. Таким образом, идеология выступала источником права.

Если говорить о формальном выражении идеологических постулатов, то это, безусловно, номинальный конституционализм как основной способ социального регулирования. У номинального конституционализма три важных отличия от конституционализма реального. Во-первых, полное отсутствие реализуемого характера правовых норм. Во-вторых, отказ от судебного контроля конституционности законов (представлен исключительно политический контроль). И, в-третьих, чрезвычайная гибкость конституционных норм, что очень важно для понимания динамики системы. Любое положение советских конституций может наполниться различным и даже диаметрально противоположным содержанием в зависимости от актуальной идеологической трактовки.

Принципиальная особенность такой системы в том, что власть практически не скована правовыми рамками, которые она сама задает. Она совершенно свободна в проведении социального эксперимента и потому изолирована от общества; абсолютная свобода означает абсолютное одиночество. Итак, в ходе русской революции возникла уникальная система социального проектирования, действовавшая на протяжении всего советского периода.

Третий важный вопрос – что собой представляет феномен номинального конституционализма. Отвечая на него, я полемизирую, с одной стороны, с теми авторами, которые расценивают советские конституции как аутентичные и, следовательно, не имеющие какой-либо особой социальной функции по сравнению с другими («нормальными») конституциями. А с другой – с теми, кто говорит, что поскольку советские конституции были полностью фиктивными и вообще не имеют никакого отношения к праву, их вообще не следует рассматривать как самостоятельный инструмент социального регулирования и адаптации индивида в обществе.

Первой из этих позиций я противопоставляю тезис о номинальности советского конституционализма, не предполагающего реализацию прав индивида и защиту их от

произвола власти. Вторую позицию оспариваю утверждением, что номинальность права не исключает его влияния на конструирование социальной реальности. Задача в том, чтобы понять, каким именно способом номинальные правовые нормы включены в создание норм и правил социального поведения, социальную и когнитивную адаптацию общества к преобразованиям и политическому режиму.

Номинальный конституционализм – важная и органическая часть всей системы советской власти. Он выполнял, на мой взгляд, как минимум три основные функции. Первая – легитимация системы, с обоснованием безальтернативности ее возникновения в прошлом, существования в настоящем и неизменности в будущем, а также камуфлированием реального характера власти. Вторая функция – мобилизационная. Все советские конституции, безусловно, отражают этапы социальной трансформации. Но это, конечно, не этапы движения к коммунизму и не этапы социального прогресса, а этапы мобилизации, которые требуют разного по степени интенсивности контроля над обществом, разных манипулятивных технологий и в целом разных подходов к решению проблем социальной модернизации и социальной адаптации. И, наконец, третья важная функция. Я называю ее «дрессирующей»; это функция когнитивной и социальной адаптации общества к процессам, которые происходят в стране.

В итоге мобилизационная политическая система однопартийной диктатуры не была как-либо ограничена декларируемыми ею же конституционно-правовыми нормами. Опираясь на революционную легитимирующую формулу, власть носила экстраординарный характер и действовала в режиме чрезвычайного положения весь период существования СССР.

Характерно, что все советские конституции принимались на пике репрессий. Так, первая из них, Конституция РСФСР 1918 года, фиксирует роспуск Учредительного собрания и ликвидацию политического плюрализма. Ее принятие совпадает с уничтожением многопартийности – подавлением восстания левых эсеров (принимавших участие в работе Конституционной комиссии). Конституция СССР 1924 года ознаменовала подавление регионального сепаратизма и утверждение фактически унитарной модели государства. Конституция 1936 года открыла шлюзы большому террору, поскольку ее обсуждение и принятие нельзя понять вне мобилизационной кампании по борьбе с «врагами народа» – фактически переформатирования правящей элиты. Конституция СССР 1977 года подвела черту под надеждами оттепели и попытками шестидесятников реформировать систему; наступили жестокие заморозки.

Когда открытых репрессий не было или они были ограниченными, конституции принимать не удавалось. Так, безуспешно попытались конвертировать программу партии 1961 года в проект Конституции 1964 года. И в период перестройки вносилось много конституционных поправок, модернизировалась политическая система, однако новая конституция так и не была принята.

Когнитивно-информационный подход позволяет по-новому взглянуть и на такой феномен как культ личности. Разумеется, это не случайное явление, и оно недаром воспроизводится на всех этапах развития советской системы. В государстве подобного типа вождь стоит над правом, выполняет функции Верховного жреца идеологического культа и дирижирует всеми институтами, но при этом остается формально безответственной фигурой. Фактически он выступает медиатором между разными компонентами системы – идеологией и правом, формальным правом и неформальными нормами, регулирует отношения в группах элиты. Наконец, он определяет смысл социального конструирования на каждом этапе. В функции культа личности как

института входит и тонкая настройка всей системы применительно к текущим задачам. Поэтому культ личности важный системный элемент, и закономерно, что он получил распространение также в режимах, генетически близких советским.

Таким образом, в книге рассматривается феномен номинального конституционализма, его социологическая природа и значение. При этом возникают новые вопросы. Был ли номинальный конституционализм стабилен или он трансформировался? Был ли он монолитен или в нем существовали определенные внутренние течения, которые позволяют говорить о его эволюции? Я ищу ответы путем сопоставления формальных и неформальных норм действовавшей политико-правовой системы, реконструируя процессы становления и консолидации советского режима, анализируя основные доктрины права, которые последовательно сменяли друг друга.

Это, прежде всего, доктрина «революционного правосознания», которая была популярна в первые годы революции и служила опорой неформальных революционных сил, призванных разрушить старое позитивное право. Это, далее, концепция «революционной законности», которая утверждается в 20-е годы. Она амбивалентна по сути: легитимирует опору на силу, «революционность» (исключающую правовое разрешение социальных конфликтов), и вместе с тем предполагает возможность использовать закон, когда это выгодно власти. Возникает обширная область исключений для идеологических, партийных и карательных структур. Я называю это явление «секретным конституционным правом» – имеется в виду система формальных и неформальных норм, которые могут быть более или менее классифицированы и зафиксированы. Общий смысл их в выведении наиболее опасных для системы форм отклоняющегося поведения из-под действия закона. Данный феномен, формирующийся уже в 20-е годы, позволяет говорить даже об особом обычном праве – наборе неписаных норм и практик усмотрения, которые складывались внутри системы и действовали, так сказать, автономно по отношению и к формальным структурам, и к законодательству.

Наиболее динамичный период развития номинального конституционализма – это, конечно, эпоха сталинизма. Тогда возникает идея, как можно совместить формальные и неформальные нормы. Формальные нормы закреплены в «Сталинской конституции» 1936 года. Но существует и создается значительное число неформальных норм, которые и обеспечивают функционирование системы. Синтез или сближение этих двух подходов достигается с помощью трех методов. Это, во-первых, использование ресурсов идеологии и пропаганды. Во-вторых, выстраивание новых отношений и даже своеобразного «диалога» между обществом и государством. Можно увидеть это на примере всенародного обсуждения Конституции, успешной «пиар-кампании», которая проходила как внутри страны, так за ее рубежами. Позитивный имидж сталинского режима надолго закрепился в СССР и в мире.

Третья составляющая программы по сближению формальных и неформальных норм – террор. Начало работы над проектом Конституции и ее принятие четко ограничены двумя политическими процессами: Зиновьева и Радека. Массовые репрессии 1937–1938 годов повязали кровавой поручкой всё общество и в особенности политическую элиту, став инструментом ее подчинения и унификации. В этот период возникает феномен двоемыслия – способность быстрого переключения индивидуального сознания с формальных норм на неформальные и наоборот в зависимости от ситуации. Это специфическое качество определяло поведение советских людей всё время существования СССР. Оно было закреплено доктриной «социалистического правового порядка», изложенной Вышинским в середине 30-х годов и ставшей с тех пор аксиомой советского права. Диктатура пролетариата рассматривалась как фундаментальная предпосылка и

единственный источник права. Эта концепция явила синтез предшествующих теоретических конструкций – доктрин революционного правосознания, революционной законности и политической целесообразности.

Оформление правовой основы режима делает Конституцию 1936 года монументальным достижением советского номинального конституционализма. Она действовала дольше других советских конституций, отличается торжественностью стиля и даже своеобразной строгой эстетикой. Ее положения фактически определяли развитие политической системы вплоть до крушения Советского Союза. Последующие конституционные инициативы до начала перестройки не имели столь значительного влияния.

Советская система, однако, не могла существовать в неизменном виде, поскольку во второй половине XX века столкнулась с мощными интернациональными вызовами, такими как глобализация, информатизация, распространение идеологии прав и свобод человека (с принятием Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей Декларации прав человека). Необходимо было как-то пересмотреть соотношение формальных и неформальных норм, и в этой связи были предложены разные решения.

Одно из них состояло в том, чтобы конвертировать идеологию в позитивное право и приблизить его к действительности. Именно на это был рассчитан проект Конституции 1964 года, так и не реализованный. Другое решение обозначено брежневской Конституцией 1977 года: отразить в Основном законе некоторые реальные институты, прежде всего те, которые занимаются выработкой правовых норм. Имелась в виду, прежде всего, конечно, КПСС.

В моей книге анализируется многолетняя дискуссия внутри аппарата ЦК КПСС и Конституционной комиссии по вопросу, надо ли включать КПСС в Конституцию и нужна ли вообще конституционализация партии. Я считаю, что появление в Конституции 1977 года Статьи 6, – о партии как «ядре политической системы», – это, конечно, момент истины для режима. С закреплением этой нормы появлялась возможность обсуждать, каковы, собственно, правовые основы деятельности КПСС и какова ее ответственность перед законом. Шестая статья была единственной нормой советских конституций, которая соответствовала реальности.

Последний этап дезинтеграции системы – перестройка, эпоха Горбачева. И, по-моему, в контексте сказанного можно переосмыслить некоторые ее моменты. Период 1985–1991 годов для меня – время завершения всего революционного процесса. Горбачев не покушался на революционную легитимирующую формулу. Напротив, он апеллировал к так называемым «ленинским нормам» (эвфемизм, демонстрирующий, что преобразования не означают полного отказа от прежней идеологии). Поэтому не думаю, что перестройку целесообразно расценивать как революцию (не возникло новой легитимирующей формулы) или даже как реформу (не было четкого плана). Ее, полагаю, следует интерпретировать как идейную реформацию, наподобие религиозной Реформации в Европе.

С этих позиций можно понять трудности преобразований, вытекающие из соотношения формальных и неформальных норм, регулирующих систему. Перестройка объективно должна была решить три задачи, а именно: трансформировать идеологию в право, номинальное право – в действующее, а действующее право приблизить к реальности. Понятно, что за короткий период сделать это было невозможно. Номинальные нормы, в случаях когда они становились реальными, просто разрушали систему. Этим, в сущности, объясняется коллапс Советского Союза. Возникает аномия, то есть конфликт различных



нормативных кодексов внутри одного правового порядка, и следствием стала деструкция системы. Страна распадалась по лекалам номинального советского федерализма, заложенного во всех предшествующих советских конституциях. Советское государство формально было конфедерацией (допускало сецессию субъектов), объявляло себя федерацией, а на деле представляло собой унитарное государство. В 1991 году ситуация вернулась к той, которая сложилась в 1917-м.

Тем не менее перестройка сыграла большую роль и способствовала не только демократизации общества, но и движению к реальному конституционализму. Напомню такие решения как деидеологизация общества, отмена однопартийной диктатуры, конструирование протопарламента в виде Верховного Совета и вообще некоей системы, напоминающей разделение властей, введение поста Президента СССР, наделенного сверхпредставительными полномочиями.

Полагаю, именно в этот момент были заложены основы современной российской политической системы. Это было движение от утопии к реальности (признанию полноценного правового регулирования), хотя и в компромиссной форме (мнимого конституционализма, следуя принятой трактовке этого традиционного понятия). В отличие от номинального советского конституционализма (означающего непреодолимый разрыв формальных и неформальных норм), мнимый конституционализм выстраивает систему реальных правовых норм, которая при этом сохраняет сверхконцентрацию властных полномочий. Созданный в эти годы механизм политической системы воспроизводится в конституционном развитии Российской Федерации накануне и во время кризиса 1993 года.

Что же представляла собой формула власти в XX веке? И как она менялась? Полагаю, ее эволюция укладывается в пять основных этапов. Первый – переход от абсолютизма к дуалистической монархии в начале XX века с креном в мнимый конституционализм (Манифест 17 октября 1905 года и Основные законы империи в редакции 1906 года). Второй этап – переход от монархии к парламентской, или смешанной республике. Решения, предложенные Учредительным собранием, означали движение в этом направлении. Третий этап – установление советской системы при режиме однопартийной диктатуры, стадии развития которой фиксировались идеологическими эвфемизмами («трудовая республика», «Республика Советов», «советский парламентаризм»). Четвертый этап – переходный режим периода перестройки, «советская система с президентской властью». И, наконец, пятый этап – принятие современной российской дуалистической системы по образцу французской Конституции Пятой республики, которая в реальности означает установление суперпрезидентской власти.

В отличие от классических европейских революций XVII–XIX веков русская революция не знала завершающей фазы реставрации, если понимать это как восстановление монархии. Однако современный политический режим, в сущности, должен решать сходные задачи выхода из революционного кризиса, достижения стабильности и консенсуса в обществе.

Подводя итог эволюции легитимирующей формулы, прежде всего, формулы власти, мы можем констатировать, что начало и конец революционного цикла XX века практически во многом совпадают. В обоих случаях представлена неограниченная власть главы государства, и единственное реальное достижение революции в этой области состоит в том, что по сравнению с поздним монархическим режимом в нынешней России власть не наследственная, а, теоретически, избираемая. При всех разрывах формально-правового обоснования власти отчетливо прослеживается преемственность имперской,

революционной и республиканской формул. Эта преемственность выражается понятием «российское имперское президентство».

Политологические характеристики, которые даются данной формуле власти в литературе, различны. Ее определяют как плебисцитарную демократию, демократический цезаризм, персоналистский режим, медиабонапартизм. Некоторые говорят о латентной монархии. Но суть системы понятна; речь идет именно о гипертрофии президентской вертикали.

Каким образом сложилась эта система и какие факторы играют основную роль в ее формировании – историческая традиция, конституционные нормы или выбор политических лидеров? На деле все три фактора вместе определяют когнитивный выбор политической элиты в условиях формирования конституционного проекта постсоветского периода.

Конституционная революция 1993 года (если рассматривать события с юридической точки зрения) стала подведением итогов всего правового развития страны, начиная с 1917-го, и, во всяком случае, все время имела в виду этот исторический опыт. А противоборствующие стороны разделялись, прежде всего, по их отношению к советской системе и ее легитимирующей формуле – защищали ее или выступали против.

Введенная этой Конституцией новая легитимирующая формула власти была именно той, которую в свое время предлагало Учредительное собрание. Теперь Россия тоже определяется как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Однако, приняв эту либеральную формулу, Конституция 1993 года одновременно закрепила сверхцентрализованную концепцию политической власти. Полагаю, что президент Борис Ельцин, в сущности, сделал то, что должен был сделать Александр Керенский в 1917 году. Ельцин ликвидировал однопартийную монополию, распустил квазидемократические советы и установил режим президентского авторитаризма. В этом режиме четко представлен синтез трех исторических форм – конституционно-демократической (всенародные выборы главы государства), советской (идеологические функции революционного лидера) и имперской – монархический компонент (президент поставлен над системой разделения властей).

В результате сложилась система с гипертрофированной президентской властью. Президент выступает как гарант Конституции, определяет основные направления внешней и внутренней политики, наделен правом издания указов с силой законов и обширными чрезвычайными полномочиями. В этой системе элиминирована конструкция сдержек и противовесов, которая существует как в классической смешанной президентско-парламентской модели (Франция), так и в президентской модели (США) и даже в производной от американской сверхпрезидентской системе (страны Латинской Америки). А центр тяжести смещен в пользу одной ветви власти – исполнительной, то есть президентской.

Однако огромные конституционные полномочия президента – только одна часть проблемы. Другая часть – формирование на этой правовой основе корпуса так называемых «скрытых» полномочий (которые могут быть выведены из конституционных норм путем их направленной интерпретации). Третья, еще более важная, грань – экспансия метаconstитуционных полномочий президента. То есть полномочий, не вытекающих непосредственно из конституционных норм, но присущих президентской власти в силу ее особого политического и символического статуса. И это основной вектор развития современной российской политической системы. В итоге глава государства превращается в демиурга всего политического процесса. Он выступает одновременно

главным идеологом реформ и главным критиком их проведения, их инициатором и ответственным за успех их реализации.

Объединение столь многих функций в одном институте может быть эффективным лишь на ограниченный период времени и в перспективе ведет к дисфункции. Принятие данной формулы имперского президентства в условиях конституционного кризиса 1993 года, по-видимому, было исторически оправданным. Оно рассматривалось как временный и исключительный способ поддержания исторической традиции, но вместо этого стало ее очередной модификацией. Когнитивная редукция новых конституционных принципов к их традиционалистской трактовке послужила источником консервативно-реставрационных тенденций, преобладание которых содержит угрозу потери гибкости и особенно опасно в ситуации перехода власти от одного лидера к другому.

Подвожу итог. Каковы же результаты революционного процесса в России XX века? Мне представляется, что этот результат амбивалентен. С одной стороны, революцией, безусловно, был запущен громадный социальный переворот, связанный с переходом от традиционного аграрного общества к индустриальному и массовому, а в конечном счете – к обществу потребления. В этом смысле благодаря революции были решены (с огромными социальными издержками) многие задачи трансформации традиционного общества. С другой стороны, остались не решенными те задачи, которые ставили европейские буржуазные революции и которые ставила Февральская революция в России. Я имею в виду, прежде всего, назревшие на тот момент конституционные и политические преобразования.

Русской революцией не решены проблема национальной идентичности, формирования гражданской нации и действенного механизма децентрализации (полноценного федерализма), создания устойчивых гарантий частной собственности как основы рыночной экономики, утверждения правового государства. В ходе революционного процесса не были созданы прочные основы демократической легитимности власти, в частности, понятных правовых процедур передачи власти от одного лидера к другому. Это всегда либо закулисные переговоры, либо завуалированный дворцовый переворот (как отстранение от власти Хрущева), либо революционная смена лидера. Не возникло полноценной политической элиты, проникнутой едиными демократическими ценностями и отстаивающей с этих позиций интересы государства. До сих пор не решена проблема восстановления культурной, правовой и политической преемственности между дореволюционной Россией, советской и постсоветской.

Этот вывод позволяет нам говорить о программе преобразований, которая вытекает не только из того, что мы видим сегодня, но и из того, что заложено Русской революцией и, может быть, даже предшествующими этапами развития. Мы должны отказаться от революционного мифа во всех его версиях, в том числе от известной идеи «особого пути», которая во многом связана с этим мифом. Далее, необходимо преодолеть отчуждение между властью и обществом, которое сформировалось исторически, но в советский период стало особенно чувствительным. Необходимо целенаправленно добиваться демократические реформ, входящих в концепцию правового государства, – о чем говорили русские либералы в 1917 году. Необходимы, конечно, и конституционная реформа, и развитие парламентаризма. Столь же нужны стране ответственное правительство, независимый суд, реформа местного самоуправления, создание эффективного управления на всех уровнях.

Наконец, необходимо осмысление исторических процессов в длительной перспективе, что

я, в общем, и пытаюсь делать.

Только последовательно придерживаясь этих приоритетов в продвижении вперед, мы сможем с уверенностью завить о завершении Русской революции. Спасибо за внимание.

**Игорь КЛЯМКИН:**

Спасибо, Андрей Николаевич. У меня к вам сразу вопрос. Можете отложить ответ до заключительного слова, а можете ответить сейчас. Вы перечислили в конце выступления целый ряд задач, которые рано или поздно императивно должны быть решены. Из чего вы исходите, когда говорите, что они в принципе решаемы?

**Андрей МЕДУШЕВСКИЙ**

Я могу сразу ответить?

**Игорь КЛЯМКИН:**

Я вижу, что вопросы есть у многих, поэтому давайте мы их все соберем, а вы на все сразу и ответите.

**Георгий САТАРОВ (президент Фонда «ИНДЕМ»):**

У меня несколько вопросов, но, видимо, это будет негуманно. Лучше по одному вопросу, да?

**Игорь КЛЯМКИН:**

Да, лучше один.

**Георгий САТАРОВ:**

Тогда я выбираю такой вопрос. Вы не раз использовали термин «социальное конструирование». В научной литературе он имеет несколько смыслов. Какой из них в данном случае вы имели в виду?

**Виктор ШЕЙНИС (главный научный сотрудник ИМЭМО РАН):**

Андрей Николаевич, спасибо за очень интересный доклад и, по-видимому, очень интересную книгу, которую я только что получил и с которой, к сожалению, не имел пока возможности ознакомиться. Тем не менее, у меня возник следующий вопрос. Вы не считаете, что поправки, которые были внесены в текст Конституции СССР в 1988–1990 годах, дали, по сути, новую, значительно отличающуюся от предыдущих, пятую по счету советскую Конституцию? Разъясните, пожалуйста, вашу позицию.

**Григорий ГЛАЗКОВ:**

Спасибо за такой всеобъемлющий доклад. Тема, конечно, огромная. У меня также масса вопросов, но, наверное, выберу один, касающийся разделения властей. Когда вы перечисляли задачи на будущее, вы не упомянули эту тему как одну из главных. На мой взгляд, принципиальный отказ советского режима от разделения властей есть его главный конституирующий признак.

Ясно, что советский конституционализм был номинальным. Но его политическая основа, то, на чем он держался, – это чрезвычайно архаичная форма правления, которую можно определить как теократию или религиозный орден. Для меня это главное в определении того, что представлял собой Советский Союз. В остальном он, в общем, мало отличался от других недемократических режимов. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.

**Александр МАДАТОВ (доцент РУДН):**

Спасибо. Прежде всего, я также хотел бы поблагодарить Андрея Николаевича за интересное выступление. Известно, что Андрей Николаевич ведущий исследователь феномена номинального конституционализма. Кроме того, его большая заслуга – то, что он в свое время концептуализировал веберовское понятие «мнимый конституционализм».

В этой связи у меня вопрос теоретического характера. В чем сходство и различие номинального и мнимого конституционализма и каковы особенности последнего с учетом современной российской ситуации? Все-таки, вероятно, современный российский вариант вписывается скорее в формулу мнимого конституционализма?

**Валентин ГЕФТЕР (директор Института прав человека):**

Андрей Николаевич, если принять ваш подход, то границы русской революции определяются временем действия той легитимирующей формулы, которая лежит в основе советского режима. Начавшись в 1917 году, революция, таким образом, простирается до 1991 года и при этом по некоторым важным параметрам остается незавершенной.

Я согласен с постановкой проблемы, особенно с учетом ее всестороннего освещения в книге. Вопрос: может ли данный подход работать при сравнительном анализе – сопоставлении с другими большими революциями, скажем, XX века? Есть ли тут место для компаративистики или это совершенно уникальное явление во всей его сложности и нет даже предмета для сравнения?

**Дмитрий КАТАЕВ:**

Андрей Николаевич, вы сказали, что Февральская революция была буржуазно-демократической. Можно спорить, насколько она была буржуазной, но не будем уходить в эту сторону. Однако все последующее политическое развитие, начиная с октября 1917 года и, особенно, с разгона Учредительного собрания, а также все дальнейшее конституционное строительство было очевидно антибуржуазным и недемократическим. Как можно объединить эти этапы в одной концепции революции?

Была Февральская буржуазно-демократическая революция, и была Октябрьская контрреволюция, бюрократическая или тоталитарно-бюрократическая, согласно разным определениям. И конституции были направлены на закрепление монополии на власть – диктатуры, которая никакого отношения к демократии не имеет, а представляет ее полную противоположность. Ваше мнение? Спасибо.

**Виктор ДАШЕВСКИЙ:**

Вы упомянули либеральный миф, который в конце 80-х – начале 90-х годов стал мотором политических преобразований. В чем суть этого мифа? Охарактеризуйте его подробнее, пожалуйста.

И еще вопрос. Если считать, что наша революция началась в 1917 году и закончилась в 1991 году, то можно ли считать, что Французская революция началась в 1789 году, а закончилась не в 1799-м, как принято в историографии, а в 1875 году? Спасибо.

**Игорь КЛЯМКИН:**

Вопросов больше нет, Андрей Николаевич имеет возможность ответить.

**Андрей МЕДУШЕВСКИЙ:**

Спасибо большое за вопросы. О методе. Его основа – феноменологическая теория познания, ассоциирующаяся с именем Эдмунда Гуссерля и современными конструктивистскими теориями.

Меня интересует конструирование представлений о пространстве, времени и смысле существования, которые вытекают из общей картины мира (заложенной культурными, религиозными или идеологическими приоритетами каждой эпохи). И проекция этих представлений на выбор соответствующих норм, институтов и социальных практик, в частности – выяснение того, каким образом картина будущего определяет то, что нужно сделать сегодня. Вот, собственно, принципы моего исследования.

Конечно, внутри конструктивизма существуют разные подходы (их различие определяется в основном степенью допустимой свободы когнитивного выбора). В книге я

показываю, что по продуктам целенаправленной человеческой деятельности можно понять информационный обмен революционной эпохи, реконструировать структуру коммуникаций и представить, как в этом процессе из хаоса возникает определенный порядок.

В то же время я стремлюсь к интеграции психологии и права, то есть стараюсь раскрыть мотивацию принятия конкретных правовых норм или отказ от них. В центре внимания – смена одних правовых положений другими и реконструкция социально-психологических и когнитивных мотивов этих изменений. Под революцией, повторяю, я поэтому понимаю радикальное изменение информационной картины мира – когнитивный срыв общества в результате столкновения традиционализма и модернизации, последующее преодоление когнитивного диссонанса общества в результате фундаментального и насильственного пересмотра принципов его политической конституции и легитимирующей формулы режима. С этих позиций я использую когнитивный метод, когда говорю о событиях революции.

Бергер и Лукман написали книгу «Социальное конструирование реальности». У меня предпринята попытка юридического конструирования социальной реальности в процессе ее революционной трансформации. То есть меня интересует процесс конструирования норм, институтов и установок и те информационно-когнитивные модели, которые используются в этом процессе. Также, как я уже говорил, меня интересуют сбои на этом пути: почему принимается одна модель государственного устройства и не принимается другая или какая-либо модель начинает функционировать не так, как было задумано ее создателями. В сравнительной перспективе это позволяет понять, как различные способы конструирования социальной и политической реальности влияют на конечный результат.

О компаративистике. Можно ли, используя предложенный метод, сравнивать русскую революцию и другие революции? В книге такое сравнение есть. Я уже говорил, что отвергаю периодизации, основанные на таких критериях как экономика, изменение социальных (или классовых) отношений и модификации политического режима. Эти параметры, на мой взгляд, внешние по отношению к имманентной логике развития революционного сознания. Существующие варианты периодизации вполне информативны, с точки зрения заданных критериев, но они не отвечают на главный вопрос моего исследования – выявление логики развития революционного мифа, основанной на нем мотивации и этапов юридического конструирования реальности. В моей периодизации революция продолжается столько, сколько действует ее миф и легитимирующая формула. А смена фаз революционного процесса регулируется модификациями (идеологическими редакциями) этой формулы.

Такой взгляд позволяет понять, какие информационно-когнитивные факторы играли решающую роль в процессе конструирования конституционно-правовых норм или способов их интерпретации политическим режимом. Выявив эти связи, можно проследить историю революции как длительного процесса, определяющего параметры социальной и культурной адаптации общества к заданным целям, политико-правовым формам их достижения и применяемым ради этого мобилизационным технологиям.

Полагаю, такой подход может использоваться в современной социологии революций и вполне применим для их сравнительного изучения. В частности, для сопоставления русской революции и французской. Последняя также создала свой миф («свобода, равенство, братство»), отдельные элементы которого наполнялись со временем разным содержанием. Изначально в этом мифе сочетались два взаимоисключающих конституционных принципов – народного суверенитета (в трактовке Руссо – введение

непосредственной демократии) и представительного правления (в трактовке Монтескье – делегирование власти от народа Учредительному собранию – Конституанте).

В моей книге приводятся мнения современных французских исследователей, показавших, что конфликт упомянутых принципов вызвал политическую нестабильность, смену конституций (их было 16!) и неоднократных модификаций формы правления. Они завершились с принятием Конституции Пятой республики в 1958 году и установлением президентско–парламентской формы правления. Следуя этой логике, французские конституционалисты считают, что порожденная революцией конституционная и институциональная динамика охватывает 150 лет.

Мексиканская революция началась с переворота 1910 года, когда была свергнута диктатура Диаса и к власти пришло либеральное правительство Мадеро. Революция эта прошла ряд стадий (ключевая из них ознаменована принятием Конституции 1917 года), с модификациями революционной формулы и политического режима институционально–революционной партии. По мнению мексиканских исследователей, их революция завершилась лишь с отказом от однопартийного режима, в конце XX века.

Третий пример – Китайская революция; на протяжении значительной части XX века она прошла ряд этапов, отмеченных значительными изменениями политического устройства. Но так пока и не завершилась, если учитывать сохранение легитимирующей формулы и однопартийного режима, действующего на ее основе.

Иранская исламская революция 1979 также прошла ряд стадий, в том числе, как считают некоторые, фазу термидора. Но, по мнению исследователей, и она не завершилась до сих пор. Революционная легитимирующая формула не прекратила своего действия. Возможно, мы еще станем свидетелями перестройки в Китае и в Иране и доживем до отказа этих государств от соответствующих легитимирующих формул власти.

Таким образом, в литературе о революционных кризисах, в том числе зарубежной, представлено в основном два подхода. Первый можно определить как конкретно–исторический; он расценивает революцию как крушение старого порядка и насильственную смену политической системы, ограничивая ее рамки периодом утверждения революционной элиты у власти. В рамках этого подхода допускаются разные датировки конца революции. Например, спорят, входит ли в общий революционный процесс установление режима бонапартистского типа.

Другой подход – социологический; революция рассматривается как длительный процесс и связывается с преемственности идеологической формулы и основанных на ней правовых норм и институтов. На мой взгляд, такой подход более интересен, поскольку нацелен не на описание событий (чрезвычайно разнообразных в разных странах), а на выявление общих закономерностей, сходных процессов, институциональной динамики.

Социологический подход, которого я в целом придерживаюсь, позволяет анализировать революционные циклы – смену фаз революции как сменяющегося господства умеренных, радикалов и сторонников реставрации. В этом контексте можно ответить и на вопрос о соотношении Февральской революции и Октябрьского переворота, который задавал Дмитрий Катаев. Для меня это действительно не разные революции, а, скорее, фазы одной русской революции, связанные с изменением политического режима и его легитимирующей формулы. Динамика русской революции вполне вписывается в общую схему, подтверждая присутствие либеральной фазы (период Временного правительства), продолжительной власти радикалов (большевизм и сталинизм) и затем осторожный поиск



реставрационной стратегии выхода из революционной формулы (фактически с первых попыток конституционализации партийных структур до крушения однопартийной диктатуры). Важно научными методами реконструировать революцию в ее исторической протяженности и сравнительном контексте, с учетом устойчивой функциональной преемственности правовых институтов.

Такой подход позволяет не только выявить общие фазы революций, но и понять их специфику. Русская революция привела к иным (в сравнении с французской, если рассматривать ту как модельную) результатам, не имела четко выраженных фаз термидора и бонапартизма, не знала реставрации (возврата к дореволюционным институтам и правовым нормам). Большевики учли и своевременно устранили угрозы своему режиму (лжетермидор эпохи нэпа). То есть за событиями стоят в значительной мере когнитивные факторы.

Когнитивный анализ актуален и для понимания современных споров о революции. Я говорю о русской революции как системном явлении, которое охватывает большую часть XX столетия и последствия которого мы ощущаем до сих пор. И призываю закончить эту революцию, отринув ее миф, но решив ее задачи демократической консолидации и либерализации политического строя.

На что я еще не ответил?

#### ***Реплика:***

Был вопрос о либеральном мифе.

#### **Андрей МЕДУШЕВСКИЙ:**

Повторю, что он зеркально отражал существовавший ранее и был сконструирован как простая ему антитеза. Казалось, что, уничтожив коммунистическую легитимирующую формулу и разрушив советские институты, страна немедленно получит гражданское общество, рыночную экономику и правовое государство западного образца. Это была романтика, наивные представления. Они, возможно, благородны, но мало соотносились с реальностью, в чем мы легко можем убедиться сегодня. Как всякий миф, такая конструкция общественного сознания не опиралась на анализ национального исторического опыта, была привнесена в готовой форме, содержала кодировку смыслового содержания, доступного только «посвященным», почти не воспринимала аргументы оппонентов.

Придя к власти, носители этого мифа настаивали на немедленном проведении нового социального эксперимента, без обоснованного плана преобразований и подсчета социальных издержек. В этом состоит особенность постсоветского переходного периода по сравнению со странами, где реформы готовились заранее и включали диалог власти и общества, даже принятие определенного социального договора (соглашения политических партий), предполагали разработку плана, детализацию этапов и специфики осуществления по регионам, систему социальных амортизаторов и правовых инструментов. А главное – возможность проверки промежуточных результатов и необходимой корректировки процесса преобразований. Следствием стали события, не

соответствовавшие утопическим ожиданиям, – распад страны и революционный, по сути, способ изменения политического режима, последующие противоречия постсоветской трансформации. С этим связана и когнитивная редукция либеральной программы преобразований: невозможность в короткие сроки реализовать заявленную утопическую программу (миф), вела к кризису завышенных ожиданий и от него - возврату к традиционным схемам выстраивания политико-правовых механизмов поддержания стабильности. А через какое-то время открылась дорога консервативно-реставрационным силам.

Вернусь к Февралю 1917-го. Почему Февральская революция не выполнила свою программу и уступила место тоталитарно-бюрократической тенденции, господствовавшей на большей части XX века? Актуальность такого вопроса возрастает при оценке событий столетней давности с учетом кризисов 1991-го и 1993 годов, а также потенциально возможных кризисов подобного характера в будущем. Уверен, что в оценке этих исторических явлений необходимо отказаться от детерминизма и фатализма, которые до сих пор характерны в историографии революции. Февральская революция могла осуществить либеральную трансформацию общества. Но ее деятели допустили вынужденные ошибки, которые, возможно, были неизбежны в тот период. Надо учитывать картину мира реформаторов и отсутствие у них исторического опыта, доступного нам сегодня.

Почему либералы в 1917 году не удержали власть? Первая причина, думаю, в их представлениях о демократии. Деятели Февраля придерживались теории либеральной демократии, которая господствовала в Европе в эпоху классического парламентаризма. Они считали, что демократию можно установить путем принятия закона о выборах в Учредительное собрание, а реформы проводить постепенно, в рамках парламентских дебатов. Но теория не соответствовала исторической эпохе. То была эпоха крушения парламентаризма, крушения цензовых демократий, выхода масс на историческую арену. Представления о демократии, взятые из эпохи Просвещения и XIX века, не работали в новых условиях. Таким образом, когнитивно ошибочной была сама модель демократии, которую либералы 1917 года пытались реализовать.

Вторая причина – ошибочные политико-правовые решения. Фактически либералы заимствовали концепцию Учредительного собрания, разработанную в Третьей французской республике, где она также не обеспечивала стабильного функционирования демократических институтов. Эта концепция основывалась на том, что задача разработки Конституции должна целиком быть доверена Конституанте – Учредительному собранию как единственному выразителю воли суверена – народа. В этой конструкции правительству и вообще исполнительной власти отводилась сугубо вспомогательная роль – обеспечения народного волеизъявления. Так возникла идея «непредрешенчества», согласно которой правительство (и получившее в силу этого название «Временного») не имеет права вмешиваться в решение фундаментальных законодательных и политических вопросов, дабы «не предрешать» волю Учредительного собрания.

Последовательно двигаясь по этому пути, либералы упустили очень много возможностей: возможно было созвать распущенную Думу (или объединить депутатов Думы четырех созывов), создав на этой основе законодательное собрание и принять временную Конституцию, можно было достичь договоренность с другими центристскими политическими партиями во имя отстранения экстремистских сил, наконец, просто осуществлять необходимые стабилизационные меры с опорой на старые институты власти. Временное правительство дистанцировалось от них, не создав новые, в силу чего оказалось в политическом и административном вакууме и утратило способность влиять на

ситуацию в регионах. Был, несомненно, упущен фактор времени, критически важный в революционные эпохи. Созыв Учредительного собрания готовился тщательно – разработка закона о выборах должна была исключить все возможные обвинения в нелегитимности новой власти. Однако постоянное перенесение сроков выборов позволило большевикам говорить, что правительство не является демократическим, и подготовить свой переворот. Таким образом, либералами была допущена стратегическая ошибка – в институциональном проектировании.

Третья ошибка – тактическая. Либералы исходили из того, что главная угроза демократической революции не слева, а справа. Они, учитывая опыт европейских революций, больше опасались реставрации монархии, нежели леворадикального переворота. Как впоследствии признавал Керенский, он сам, не поддержав выступление Корнилова, стал главной причиной Октябрьского переворота. История революций XX века свидетельствует: если бы из этих ошибок был извлечен урок, можно было бы предотвратить победу экстремистских движений.

В целом я анализирую переходные ситуации именно для того, чтобы продемонстрировать вариативность исторического процесса и показать, что когнитивный выбор элит имеет реальное значение для определения вектора развития общества, иногда на очень продолжительный период. Длительность существования советской диктатуры вовсе не доказывает ее исторической неизбежности. В этом нас убеждала советская историография, но именно это я ставлю под сомнение. Крушение советского режима в 1991 году сходным образом не подтверждает фаталистического взгляда на российский исторический процесс, а свидетельствуя скорее об обратном. Ошибки исторического выбора рано или поздно приходится исправлять, но лучше делать это с позиций научного знания, а не путем политической импровизации.

### **Игорь КЛЯМКИН:**

Еще был вопрос о перестройке.

### **Андрей МЕДУШЕВСКИЙ:**

Перестройка рассмотрена в книге как завершающий этап революционного проекта. С одной стороны, речь тогда шла о совершенствовании системы, а не отказе от нее (что подчеркивается самим термином «перестройка»). С другой стороны, имелась в виду демократизация режима – попытка превратить нормы номинального советского права в действующие. Этим объясняются противоречия и трудности преобразований Горбачева, их незавершенный характер.

Виктор Леонидович Шейнис считает, что поправки тех лет в Основной закон фактически означали появление новой Конституции. Действительно, текст 1991 года отразил появление элементов плюрализма, ограничение партийной монополии на власть, создание протопарламента и института президента. Де-факто это действительно означало появление новой Конституции, но не де-юре.

Сам факт инкорпорации новых норм в текст старой Конституции подтверждает противоречивость достигнутого результата. Советская легитимирующая формула

сохранилась, пусть и в модифицированном виде, а новые положения (в том числе утверждающие разделение властей) могли получить разную интерпретацию в зависимости от развития политического кризиса. Напомню, что Горбачев совмещал посты Президента СССР и Генерального секретаря ЦК КПСС. Данная ситуация напоминает ту, которая возникла с принятием ограничений монархической власти в начале XX века, когда был возможен спор, создает ли новое законодательство ограничение абсолютизма или его принцип остается неизменным (поскольку само понятие «самодержавие» сохранилось в Основных законах). Сходным образом в период перестройки велась дискуссия – может ли партия пойти на пересмотр революционной легитимирующей формулы и сама ограничить собственную абсолютную власть (имевшую изначально внеконституционный характер). Новые конституционные положения теоретически могли быть дезавуированы на основе старой советской легитимности. Этот вопрос предстояло решить не правом, но силой (что и произошло в ходе августовского путча 1991 года).

Вообще вопрос о разделении властей на всех этапах российской политической трансформации XX века подвергался разным толкованиям. Временное правительство, что уже было показано, понимало этот принцип буквально – как передачу всей законодательной власти Учредительному собранию в ущерб исполнительной власти. В дальнейшем предполагалась смешанная форма правления, наподобие Веймарской республики.

В СССР принцип разделения властей отвергался – исходя из презумпции того, что революционная власть не может быть разделена и требуется, напротив, соединение всех властных функций. В Сталинской конституции 1936 года, с отказом от идеи «непосредственной демократии» (делегирование депутатов в советы разного уровня) и формальным принятием всеобщего избирательного права, возникает некая аллюзия к парламентаризму, представленная в рамках, так сказать, внешнего и внутреннего политического пиара. Возникает конструкция, внешне напоминающая парламентскую систему: Верховный Совет («социалистический парламент»), правительство (Совет Министров) и «коллективный президент» (Президиум Верховного Совета). Это впечатление о движении советской системы к реальному парламентаризму стало ловушкой для тех западных аналитиков, которые плохо представляли реалии советской системы. Конечно, о подлинном движении к разделению властей нет и речи. Советская система может быть определена как теократия, но не религиозная, а светская. Внутренняя конфликтность понятия «светская теократия» наиболее четко отражает имманентное противоречие ее легитимирующей формулы.

Первые попытки принятия принципа разделения властей в советской системе были сделаны Горбачевым, выдвинувшим противоречивую концепцию «советской системы с президентской властью». Наконец, Конституция России 1993 года фиксировала смешанную форму правления и закрепила принцип разделения властей, сделав это впервые в российской истории (статья 10). Однако интерпретация этой формы правления далека от ее западных аналогов. Президент фактически стоит над системой разделения властей, сохраняя возможность влияния на деятельность каждой из них. Постконституционное законодательство еще более расширило его полномочия в таких жизненно важных областях как финансы, федерализм и формирование судебной и правоохранительной системы. Тот механизм сдержек и противовесов, который действует в смешанной форме правления практически не реализуем в России.

Отсюда мое представление о перспективах реформирования системы. Я думаю, нужно двигаться в направлении аутентичной смешанной формы правления, то есть принять ту конструкцию власти, которая существует, например, сегодня во Французской республике.

Такая конструкция предполагает баланс сдержек и противовесов между парламентом, правительством и президентом. С этих позиций возможно переосмысление места судебной власти и обеспечение ее большей независимости.

В связи с этим интересен вопрос о соотношении номинального и мнимого конституционализма. Номинальный конституционализм – это ситуация, когда Конституция является ею только по названию, то есть вообще не действует. Права, которые зафиксированы в Конституции, не могут быть реализованы на практике, например, защищены в суде. Данное понятие наиболее четко выражает особенность всех советских конституций, представлявших собой, по сути, камуфлирование реальной власти – однопартийной диктатуры.

Мнимый конституционализм означает другую ситуацию. Конституция, в принципе, действует и накладывает на власть некоторые ограничения, но при этом заложен механизм, позволяющий нивелировать или обходить эти ограничения. Такой механизм использует лакуны, противоречия и неясность конституционных норм, сохранение для власти значительной свободы интерпретировать их в свою пользу, широкой трактовки понятия безопасности, делегированных полномочий и административного усмотрения. В правовом пространстве возникают «зарезервированные зоны», позволяющие власти, по сути, не считаться с законом. В целом данное понятие описывает ситуации систем ограниченного плюрализма – переходных режимов, которые сочетают признаки демократической и авторитарной легитимности и могут иметь более или менее авторитарный характер в зависимости от конструкции политического режима и степени социального контроля над ним. В этом отношении актуальна проблематика соотношения конституционных и метаконституционных прерогатив главы государства.

Термин «мнимый конституционализм» был введен германскими либералами в XIX веке. В начале XX столетия за этим понятием крылась практика октроированных (дарованных свыше) конституций и монархических режимов, где глава государства сохранял контроль над правительством и силовыми структурами, обладая чрезвычайными полномочиями. Русские либеральные конституционалисты использовали этот термин для определения формы правления, которая сформировалась с переходом к дуалистической монархии. Фактически монарх стоял над конституцией, сохранял возможность манипулировать различными институтами и за счет этого, так сказать, перетягивал всю конституционную систему в свою пользу.

Российская система власти, возникшая с крушением советского номинального конституционализма, вполне соответствует формуле мнимого конституционализма. Полномочия главы государства в России не уступают полномочиям монарха. Может ли эта система трансформироваться в номинальный конституционализм? Пока не ясно. Важно сделать всё, чтобы этого не произошло.

### **Игорь КЛЯМКИН:**

Спасибо, Андрей Николаевич. Замечу по ходу, что очень интересный термин Вы ввели – «вынужденные ошибки». Он, по-моему, характеризует определенную особенность нашего исторического мышления. Некий оксюморон здесь заложен, есть смысл об этом подумать.

Переходим к выступлениям оппонентов. Михаил Александрович, пожалуйста.

**Михаил КРАСНОВ (профессор факультета права, заведующий [кафедрой конституционного и административного права](#) НИУ ВШЭ):**

**«В рассуждениях о нормах теряется едва ли не главное преступление большевизма – открытое растаптывание права»**

Я пока не прочел книгу, поэтому буду говорить не столько ней, сколько о ее предмете, скорее, об одном его аспекте. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что для Андрея Николаевича Медушевского характерно некоторое увлечение нормами, из-за чего в рассуждениях теряется едва ли не главное преступление большевизма: полное, причем открытое, растаптывание права. Это отнюдь не «эксцессы исполнителя», а твердое следование марксистской доктрине, согласно которой право есть не более чем воля господствующего класса, возведенная в закон. А государство – не более чем машина для подавления одного класса другим.

У Ленина есть мысль, весьма ярко иллюстрирующая полное пренебрежение к праву. В одной работе он вспоминает о Втором съезде РСДРП в связи с полемикой насчет того, все ли принципы должны быть подчинены выгодам партии. Один из делегатов (Посадовский) тогда заявил, что абсолютно все демократические принципы должны быть подчинены выгодам партии. Кто-то из зала воскликнул: «И неприкосновенность личности?». И Посадовский без колебаний ответил: «Да, и неприкосновенность личности». Вот понимание права большевиками. Ленин был честен в этом отношении: «Целесообразность, целесообразность и целесообразность».

Именно поэтому я все время упрекаю Андрея Николаевича (и, наверное, надоел ему этими упреками) за то, что он говорит о «советском конституционализме». В действительности не было даже имитации конституционализма, не было ни его «номинальности», ни «мнимости», потому что конституционализм – эта идея и практика ограничения власти. У большевиков в доктрине не было даже намека на то, что власть может быть ограничена, потому что это «власть народа», а кто или что может ограничить народ? Так что никакого конституционализма при том режиме не только на практике не было, но и в теории.

Не случайно «разделение властей» было вообще ругательным понятием. И намека на него не допускалось, потому что есть «три кита» советской власти. Во-первых, принцип «советы – работающая корпорация» (понятие взятое у Маркса применительно к Парижской коммуне). «Второй кит»: «Россия – единая фабрика». И «третий» – есть авангард, стоящий над Конституцией. Вся Конституция, говорил Ленин, основана на том, что партия всё исправляет, назначает и строит. О каком конституционализме можно тут говорить?

Дальше. Вопрос о Сталинской конституции. Это еще один устойчивый миф. Андрей Николаевич его не повторяет, тем не менее пишет о несоответствии реальности сталинского режима его же Конституции. Да как раз полностью соответствовал сталинский режим своей Конституции! Конечно, в Конституции 1936 года не говорится о Сталине как об «отце, вожде, учителе». Не говорится, что можно получить срок, если кто-то непочтительно обойдется с портретом вождя. Но если сталинскую Конституцию читать системно, можно увидеть возможность и законных массовых репрессий, и голодомора, и

прочих преступлений.

Итак, право как средство обслуживания интересов класса или правящей группы даже близко не является правом. Поэтому о «праве советском», как и о «советской конституции», «советском конституционализме», нельзя говорить всерьез. Да, есть такое понимание, что государство рождает право. И министр юстиции Щегловитов в 1914 году говорил, что источник права – это воля государя. И Карл Шмитт в период увлечения нацизмом тоже говорил, что право исходит от фюрера. Но право, если редуцировать его смысл, это феномен, обеспечивающий баланс свободы и справедливости.

Я себя не считаю таким уж классическим либералом, однако тяготею все-таки к либеральному лагерю, причем именно потому, что в этом лагере право считается главным средством защиты человеческого достоинства. А раз так, то это средство защиты слабейшего или слабого перед сильным, будь то другой человек, корпорация или государство.

Так вот, большевизм разрушил сам идеал права. И это нам досталось в наследство. В институтах в меньшей степени, но в мозгах – осталось. А самое ужасное в другом. Большевизм топтал право открыто, а сегодня оно дискредитируется тем, что вроде бы в правовых формах творится неправое. Тем самым наша действительность дает иллюстрацию того, как демократия может уничтожить право. Поэтому лозунг сегодня должен быть другим. Не демократия, а право, правовой порядок. Вот что нужно России прежде всего. Спасибо.

**Рустем НУРЕЕВ (научный руководитель департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, профессор НИУ ВШЭ):**

**«Все советские конституции были лишь элементом фасада командной экономики»**

В отличие от Михаила Краснова я уже начал читать эту книгу. Но хотел бы начать с того, чем закончил Михаил Александрович. Наши современные проблемы действительно имеют истоки где-то глубоко, не только в 1991-м, но и в 1917 году. И даже много дальше.

Вольно или невольно для автора книги, у него получается, что «есть у революции начало, нет у революции конца...». Действительно, в монографии Андрея Николаевича дается очень широкая трактовка революции. Я бы сказал, предельно широкая, поскольку он охватывает последние 100 лет отечественной истории, вплоть до наших дней. В этом и основное достоинство книги, и основной ее недостаток.

Всякое явление есть единство общего, особенного и единичного. А в книге, повторяю, вольно или невольно для автора, сделан акцент на общем. На том, что объединяет современную эпоху с событиями 1917 года. На самом деле, есть черты, типичные для нашей политической истории, объединяющие ее с теми институтами, которые существовали в Российской империи, в российском государстве. Это, прежде всего, институт власти-собственности, когда власть имеет большее значение, чем институт собственности. Такое явление возникло еще в допетровской Руси и обозначено марксистским понятием «азиатский способ производства», о чем я неоднократно писал. Думаю, истоки концепции надо было связывать с этим институтом власти-собственности.

И логично, говоря о критериях протяженности русской революции, с таких же позиций

подходить и к другим революциям (английской, французской и прочим). Великая французская революция 1789 года, например, тоже, формально не закончилась в 1799 году и имела продолжение в первой половине XIX века. Таким образом, получается, что разные революции подходят под эту расширительную трактовку, и, насколько я понял, Андрей Николаевич такой подход поддерживает. Однако, подчеркну, при таком подходе несколько смещаются акценты. В действительности мы говорим о революции и эволюции, а получается, что всё у нас – революция.

Конечно, в природе бывают переходы разного уровня. При нагревании воды жидкость на определенном этапе переходит в пар. Переход из одного состояния в другое, несомненно, является скачком. Однако этот скачок более низкого порядка, чем если мы расщепим  $H_2O$  на водород и кислород. Что назвать революцией: первый случай или второй? Если и первый, и второй, то надо различать революции первого порядка, второго порядка и так далее. К сожалению, в книге Андрея Николаевича акцент сделан скорее на преемственности режима, на том общем, что объединяет 1917 год и поздний период командной экономики – «развитой социализм».

Книга называется «Политическая история русской революции», и действительно она выдержана в этом ключе. Она интересна как обзор альтернатив, как детальное исследование рассуждений и размышлений участников событий. Ты словно сам становишься их современником, потому что погружаешься в огромный и богатейший материал. Вникаешь в аргументы и контраргументы разных политических лидеров, высказывания разных исторических персон. И это касается не только дебатов об Учредительном собрании. Всё это очень познавательно и увлекательно. Но напомню мысль Ленина: «Не может не быть первенства политики над экономикой». У автора книги получилось, что вся его концепция чисто политическая. Хотя в своем докладе Андрей Николаевич упоминал о связи экономики и политики.

В подзаголовке книги вынесено пояснение: «Нормы, институты, формы социальной мобилизации в XX веке». Автор действительно по большей части оперирует этими терминами. Однако в институциональном анализе есть два важных понятия: взаимосвязь права и экономики (law and economics) и взаимосвязь экономики и права (economics and law). Андрей Николаевич концентрируется, прежде всего и главным образом, лишь на первом, проецируя право (law), на экономику.

К сожалению, второй подход представлен в книге гораздо меньше. Между тем интересно было бы показать, как экономическая реальность порождала именно такую политическую и правовую систему, а не другую. Мне, как экономисту, этот подход не менее важен, чем первый.

Понимаю, что толкаю вас за пределы вашей любимой науки – правоведения, но без этого невозможно. И напротив, надо понять, насколько адекватно экономика отражалась в этом псевдо-, квази-, номинальном праве, и многое другое. Я имею в виду формальные и неформальные институты, практики и так далее. С моей точки зрения, институциональная экономика богаче, и тут есть и право и экономика и экономика и право, понимаете?

Теперь относительно Конституции. Позволю себе не согласиться с уважаемым Михаилом Красновым. В свое время я задал вопрос Нобелевскому лауреату по экономике 1986 года, который получил премию «за исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений». Это был Джеймс Бьюкенен. Я спросил: «А Конституция СССР 1936 года – хорошая?» Выяснилось, что он ее читал. Как вы думаете, что ответил Бьюкенен? Он сказал: «Хорошая. – И добавил: – Но только



бумажная».

Советские конституции были элементом фасада командной экономики. Да, это подчеркивается в книге, и в этом достоинство монографии. Но важно подчеркнуть, что советские руководители думали не только о внутренних проблемах, но и о том, как будет восприниматься СССР извне. И этому при подготовке текста очередной Конституции придавалось довольно большое значение.

Подчеркну еще раз. Я читаю книгу Андрея Медушевского «Политическая история русской революции» с увлечением. Она фундаментальна и интересна, и какие-то наши стереотипы уходят, потому что это подход с политической и правовой точки зрения довольно любопытный. Мы, как экономисты, его не в полной мере знаем и понимаем.

Книга интересна и потому, что создан сложный, категориальный аппарат. Он разработан для того, что бы осмыслить происходившие в нашей стране процессы, их сложность и многомерность. Поэтому я хочу поздравить всех с выходом замечательного исследования, которое заставляет читателя в чем-то согласиться, а в чем-то не согласиться с автором. Заставляет по новому осмыслить происходившие последние 100 лет процессы. Глубже понять действующую в нашей стране политическую систему. Спасибо за внимание.

**Святослав КАСПЭ (главный редактор журнала «Полития», профессор НИУ ВШЭ):**

**«К реальной формуле реальной власти конституции в нашей стране имели и имеют очень отдаленное отношение»**

Я так понимаю, что вначале надо отчитываться. Книгу я прочел; она замечательная, как, впрочем, и все книги Андрея Николаевича. И наводит на грустные размышления, что, безусловно, прямое следствие ее достоинств. Некоторыми из этих размышлений я и поделюсь.

На странице 604 читаем: «Большинство актуальных проблем современного постсоветского общества коренятся в нереализованности объективных целей русской революции». Меня, конечно, царапнула эта формулировка. Какие могут быть «объективные цели» у того, что страницей выше очень убедительно определено как «спонтанный процесс психологического срыва общества» и «конвульсивная агрессивная реакция»? Но дело не в этом.

Дело в том, что далее на нескольких страницах резюмируется, как и в сегодняшнем докладе, то, чего революция не совершила. «Революция не решила проблему национальной идентичности и формирования гражданской нации». «Не только не создала гарантий частной собственности как основы рыночной экономики, но и уничтожила те, которые были созданы ранее». «Не было создано гражданское общество современного типа». «Не было создано правовое государство». «Не решена проблема восстановления правовой и политической преемственности дореволюционной, советской и постсоветской России». «Не были созданы прочные правовые основания передачи власти от одного лидера другому». «Не возникло полноценной национальной политической элиты»...

Всё это, конечно, чистая правда. Но как-то уж очень оно напоминает известные слова профессора Воланда: «Ну, уж это положительно интересно – что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!». Получается так, что революция создала большое Ничто – провал,

пропасть, геенну, в которую обрушилась Россия и как будто до сих пор в ней пребывает. Да, есть и такая точка зрения. В 1930 году Георгий Иванов написал:

Хорошо, что нет Царя.

Хорошо, что нет России.

Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,

Только звезды ледяные,

Только миллионы лет...

Есть люди, которые и сейчас придерживаются того же мнения, несмотря на то что Россия вроде как существует, – в конце концов, где мы сейчас находимся? Однако я полагаю, что дело обстоит еще хуже. Что-то, нечто, в результате революции таки возникло. И понять, что именно через революцию явилось, вообще-то важнее, чем понять, чего она не достигла. Потому что это нечто страшнее, чем ничто.

По моему мнению, в XX веке в нашей стране был произведен небывалый по своим масштабам, глубине и длительности антропологический эксперимент по преобразованию человеческой природы – не больше и не меньше. У этого эксперимента было много измерений. Одно из них – искоренение религиозности и всего того, что от нее производно, в том числе нравственного чувства. Другое – искоренение чувства собственности. Заметьте, что в советской культуре люди, сохранившие хотя бы рудимент того или другого, считались моральными уродами и подлежали выбраковке либо, в лучшем случае, перевоспитанию. Есть и другие измерения – хотя бы уже упомянутое здесь «революционное правосознание»...

Но дело не в количестве изменений, а в том, есть ли с чем этот эксперимент сравнивать. Я думаю, что нет. Ничего подобного не было нигде и никогда. Не было других таких революций, не было других таких экспериментов – просто по сочетанию длительности и глубины. В Кампучии при «красных кхмерах» было похлеще, но там всего пять лет экспериментировали. А наш эксперимент вместил и переработал несколько поколений.

Так вот, мы все – и, конечно, первым делом я сам, и вы, и наши с вами родители, и, предполагаю, наши дети – суть результат этого эксперимента. Извините за грубость, лабораторные отходы. Сам эксперимент, к счастью, провалился. А мы остались – и пытаемся жить.

Знаете, это напоминает обстановку и атмосферу заброшенных лабораторий, которые нам показывали во многих фильмах-хоррорах и компьютерных играх, например в Resident Evil, «Обители зла» (кстати, очень подходящее к нашему разговору название). Полумрак, мерцающий свет, по углам валяются неубранные трупы, битая посуда, из которой вытекают какие-то неизвестные яды, кругом кровь, непонятные трески и шорохи... А мы сидим среди всего этого и думаем, как нам обустроить... обитель зла!

На самом деле, это не то чтобы заведомо невозможно; но для этого нужно помнить, что здесь обитало именно зло. А еще помнить, кто такие мы сами. Самое опасное для нас – это думать, что мы нормальные. Что мы нормальные люди, нормальное общество,

нормальный народ и так далее. Это не так. Мы – искусственно выведенные существа. Гомункулы и големы. Вот еще одно страшное стихотворение, написанное поэтом Владимиром Соколовым в 1988 году:

Я устал от двадцатого века,

От его окровавленных рек.

И не надо мне прав человека,

Я давно уже не человек.

Из книги Андрея Николаевича как раз становится хорошо видно, – возможно, против его собственного желания, – до какой степени мы ненормальные. И в этом ее ценность.

Вот Конституция. Казалось бы, что может быть важнее Конституции? Но чтение книги производит стойкое ощущение, что Конституция, строго говоря, не важна. Причем не только в плане исполнения тех трех функций, которые перечислил сейчас Андрей Николаевич, будь то какая-либо из советских или постсоветская конституций. Эти функции прекрасно исполнялись и без конституций, и уж точно в основном не ими. И легитимация режима, и мобилизация населения, и его дрессура. Даже к реальной формуле реальной власти конституции имели и имеют очень отдаленное отношение. То есть они все-таки важны; но в каком смысле?

А в том, что дебаты вокруг конституций (и советских, и постсоветских) дают возможность многим людям разной степени ума и благородства (иногда высочайшей степени, иногда очень низкой) что-то такое существенное сказать и написать, и даже внести в сам конституционный текст. Вокруг конституций разворачиваются более или менее бурные события, ломаются копья и шеи... Но и характер принятия политических решений, и характер самих этих решений самими конституциями все равно предопределяются лишь в очень малой степени.

Приведу простой пример. Конституцию естественно рассматривать как способ фиксации ключевых, критически важных элементов институционального дизайна. Мы долго и справедливо жаловались на низкое качество наших институтов, на их слабость, хилость, неэффективность и тому подобное. Но при этом считалось, что если уж есть в современной России по-настоящему сильный, работающий институт, то это институт президентства, этакий палладиум российской государственности. Гвоздь, на котором государство, собственно, и держится. Во всяком случае, насколько я понимаю, таковы были интенции авторов финального варианта Конституции 1993 года – для этого и была нужна суперпрезидентская республика. Кстати, именно сверхсильное президентство многие, в том числе некоторые из самих же авторов текста этой Конституции, затем сочли главным ее пороком и вообще основной причиной наших бед и проблем и призывали к исправлению этого положения.

Однако же не так давно нам наглядно продемонстрировали, что даже институт президентства не имеет особого значения. Что его можно, как пиджак, дать поносить другому человеку, а потом сказать: «Ну всё, давай обратно». И человек отдаст! И теперь, когда я слышу, будто для того чтобы вылечить Россию и ее недуги, надо лечить институт президентства или Конституцию в целом (Андрей Николаевич тоже ведь завершает свою книгу призывом к «радикальной конституционной реформе»), мне хочется спросить: «Вы

что, уколы в пиджак собираетесь делать?»).

Поймите меня правильно, я, конечно, не знаю, куда надо делать уколы, в какую антропологию и где у этой антропологии «мягкое место». И вообще сомневаюсь, что здесь возможна какая-то быстродействующая терапия. Но уж точно не пиджаки надо лечить, мне кажется.

И все-таки я хотел бы завершить парой уже не столь пессимистических соображений – во всяком случае, я в них нахожу некое скромное утешение.

Во-первых, даже у нас, даже в нашей заброшенной лаборатории, Конституция иногда работает – когда она оказывается документом прямого действия. Тогда, когда ее начинают читать буквально, отвлекаясь от всего окружающего контекста. Вольно же было создателям советских конституций включать в них статьи о правах и свободах! А ведь нашлись люди, которые увидели там именно эти слова и стали требовать их осуществления. Они не обрушили тем самым бесчеловечный строй, и не они прекратили этот эксперимент. Но они спасли честь нации. То же относится и к действующей Конституции России. Как бы там ни было всё остальное, но это последний рубеж обороны человеческого достоинства – что-то подобное сегодня уже говорил, кажется, Михаил Александрович Краснов. Слабый рубеж, да; но даже картонный щит лучше, чем никакой, чем его отсутствие. И в этом отношении действующая Конституция не так уж плоха: всё необходимое для того чтобы служить таким рубежом, в ней есть. К тому же я предполагаю, что «радикальная конституционная реформа» гораздо вероятнее приведет к порче Конституции, чем к улучшению.

Во-вторых, есть такая поговорка: «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Если мы будем помнить, кто мы такие, и если мы, тем не менее, вопреки этому (а еще лучше именно поэтому!) продолжим подражать нормальным людям, то, может быть, сами станем нормальными. Хотя бы трудноотличимыми от нормальных. Тут главное – не останавливаться. Еще бы пару поколений не останавливаться – глядишь, что-то путное и выйдет, в том числе и с Конституцией.

Надежды на скорый результат нет; но это не значит, что ее нет вообще. Мешает и сбивает с толку то, что мы очень торопимся, уж очень хотим быть счастливы еще при нашей жизни. Но этого нам никто не обещал. Кстати, американская Декларация Независимости ведь провозгласила право на стремление к счастью – но не на само счастье. Что очень мудро. Спасибо.

**Игорь ОРЛОВ (профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ):**

**«Применительно к СССР уместнее говорить о противопоставлении не идеологии и права, а идеологии и прагматики»**

Спасибо. Андрей Николаевич в очередной раз продемонстрировал нам свою колоссальную работоспособность и дотошность. Я ему за это благодарен. Уйду сейчас от inferнальности, от того, что Святослав Игоревич расценивает как «нормальность – ненормальность». Нужно еще понимать, что такое нормальность, чтобы говорить о ненормальности. Видимо, нормальными могут быть люди, которые принимают решения об уничтожении в секунду огромной массы людей в Хиросиме и в Нагасаки. Это

нормальные люди, а те, которые не способны к этому, наверное, ненормальные.

Перейду все-таки к научной дискуссии. Андрей Николаевич нам предложил любопытную схему. И она чем-то напоминает монолит Гегеля; Фейербах пытался копать одновременно с разных сторон и никак не мог его разрушить, пока не создал рядом свою параллельную систему доказательств. Ее можно принимать, а можно не принимать.

Для меня в отличие от Андрея Николаевича революция заканчивается в 1936 году. Потому что я измеряю ее срок другими показателями. В том числе показателями правовой культуры. В книге представлена, на мой взгляд, не политическая история. Это, скорее, политико-правовая история государства. Это первое.

Второе, нам предложена когнитивная схема, из которой уходит некий формат обратной связи. То есть в целом создается впечатление, что этот социальный миф, политический миф, существует в вакууме, некоем пространстве, где власть сама по себе и, в общем-то, никак не отвечает на тот запрос, который исходит снизу. Хороший он или плохой, это другой разговор. Демократический это запрос или тоталитарный.

Я, как человек, который много занимался именно социальной историей, ментальной историей, историей политической культуры населения, могу сказать одно. Власти предрешающие, по крайней мере, до середины 1930-х годов, активно изучали, что хочет население. В том числе и путем референдума. Изучали соответствующие органы, начиная от сельского клуба и заканчивая Главным управлением госбезопасности НКВД. Составлялись сводки о том, что население говорит, какие вопросы задают на собраниях. То есть это кому-то было нужно. Информация обобщалась в компактных документах, которые ложились на стол членам Политбюро. И та красивая схема, которую предлагает Андрей Николаевич, из-за отсутствия в ней обратной связи несколько провисает.

Если мы противопоставляем идеологию и право, то логично в этой схеме рассматривать противопоставление идеологии и прагматики. Например, 1943 год, когда мы идем навстречу церкви, потому что впереди Тегеранская конференция. Здесь и то, что на Западе назвали национал-большевизмом как некой прагматики, отходящей от идей мировой революции.

Третье. Мне не хватает в этой замечательной книге понимания того, можем ли мы считать начало XX столетия, по крайней мере, новым «бунташным веком». Почему с такой плотностью происходят революции? Это и Мексика, и Парагвай, и Уругвай, и ЮАР, и Монако. То есть если вы посмотрите на период начала XX века, до 1921 года, когда в Монголии произойдет революция, то насчитаете десятка полтора революций и гражданских войн разного измерения с показателями революционности. Мы что, в очередной раз вступаем в семнадцатый «бунташный век»? В тот век, когда всколыхнуло не только Россию? Мы хорошо знаем, что происходило в России, но меньше интересуемся другими странами, а в это время мятежной была практически вся Европа.

Что-то было в человечестве, что заставляло искать новую парадигму развития. То есть человечеству чего-то не хватало, причем не хватало и в Мексике, и в Монголии, и в России, и в Европе. Возьмите революцию 1918 года в Германии. То есть получается, что на самом-то деле был громадный запрос у человечества. Был огромный запрос на что-то новое. То, что было, не устраивало. Это действительно был большой социальный запрос.

Когда мы говорим о правовой системе, обратная связь позволяет зафиксировать некие интересные явления. Допустим, в одном письме к Ленину встречается такой термин как

«декретная шрапнель», характеризующий обилие советских законов. Или, допустим, люди рассуждали о том, чем отличается дореволюционная правовая система от революционной. До революции не нужно было знать законы, их знали начальники. После революции начальники законов не знают, их нужно было знать населению. Это пишет в письме к Ленину в 1920 году некий врач.

Кроме того, когда мы говорим о системе и о том, что мы называли в свое время «письмами во власть», выявляется интересный феномен. Крестьяне предпочитают обращаться к вождям. Очень редко они ссылаются на мелкие правовые нормы. А вот рабочие и вообще горожане с 1917 года апеллируют в большей степени, по крайней мере, до середины 1930-х годов, к институтам и к закону.

Таким образом, некая правовая культура в стране существовала. Когда я, изучая кампанию борьбы со взяточничеством, читал правовые журналы 20-х годов, то обнаружил, что тогда употребляли термин «правовое государство» по отношению к той России, которая, как мы понимаем, далеко не была правовой. И только с конца 20-х этот конструкт правового государства был объявлен буржуазным, заклеен и так далее. Получается, что не всё так просто было в умах тех людей, которые приходили во власть. Ведь недаром меньшевики пошли навстречу советской власти, недаром возникло так называемое движение сменовеховцев. То есть кто-то пытался понять, почему советская власть, по аналогии с редиской, только сверху красная, а внутри белая, как рассуждали за границей.

Мне кажется, что восстановление этого механизма, выявляющего, как население относилось к конструктам, которые были в стране, поможет по-новому взглянуть на историю русской революции. И это, на самом деле, не противоречит схеме «революции до 1991 года». Но у меня есть еще одно соображение.

Дело в том, что когда Андрей Николаевич говорит о революции, он ее рассматривает как некий универсальный конструкт. Есть революция, есть эволюция, которая решает свои вопросы. Я историк, и это не позволяет мне согласиться с таким подходом, потому что, полагаю, нет универсальной революции как некоего механизма. Революции разные. И русская революция была специфической, и она решала разные задачи. В свое время в Институте российской истории обсуждалась версия, что русская революция началась в 1902 году и закончилась в 1922-м. Авторы той концепции исходили из критерия аграрной революции. Мы можем найти уйму критериев. Они убедительны или не очень убедительны, но это нужно приветствовать. Это и есть взгляд на нас самих, на нашу историю, с разных сторон.

Я не столь уж большой сторонник альтернативной истории, потому что она может дойти до уровня гаданий типа: «Если бы у бабушки были колеса, она была бы автобусом». Наверное, какие-то модели строить нужно. Насколько они помогают понять историю, трудно сказать. Но я не вижу в книге Медушевского никакого социального моделирования. Здесь просто жесткая, строгая схема, с массой фактологического материала, который хорошо укладывается в ту методологическую и теоретическую конструкцию, которую предлагает Андрей Николаевич. Еще раз говорю, она уязвима, только если вы начинаете выдвигать некие другие критерии.

И последнее. Я, честно говоря, не очень вижу в этой схеме Конституцию 1924 года. Мало того что она специфически сформулирована; потом всё то, что в ней было, попало уже в республиканские конституции 1925 года. Может, на это надо посмотреть более внимательно? Один мой коллега сказал, что когда он пишет книги, то специально ищет

нечто противоречащее его гипотезе. Начинает проверять и только потом строит теорию. Спасибо за внимание.

**Виктор ШЕЙНИС:**

**«Сегодня в России есть риск утраты обществом даже минимума дореволюционных конституционных гарантий»**

Прежде всего, мне хотелось бы присоединиться к комплиментарным оценкам нового труда Андрея Николаевича, которые прозвучали в этой аудитории. Его концепция, несомненно, одна из самых оригинальных, последовательных и систематических концепций политической истории России XX – начала XXI века. К сожалению, у меня не было возможности предварительно ознакомиться с книгой, поэтому ограничусь несколькими соображениями.

Начну с метода. По мысли автора, используя когнитивную методологию, можно преодолеть ограниченность традиционных подходов, преобладающих в правовой теории: естественного права, нормативный и реалистический. В центре анализа – российские конституции XX столетия. Анализ ведет от этих памятников правовой мысли к мотивациям индивидов, их сотворивших и утвердивших. То есть от результатов, зафиксированных в конституционных текстах, – к замыслам и целям создателей. Намерения и действия выводятся из содержания документов. Их не много, всего четыре (по моему мнению, пять), и уже это делает их своего рода реперными точками политического и правового процесса. Признаем за таким подходом право на существование, хотя, понятно, он не единственно возможный.

Политическая история русской революции, утверждает Андрей Медушевский, единый исторический процесс. Если так, она началась не позднее 1917 года и пока еще не закончилась. «Есть у революции начало, нет у революции конца», как уже сказал здесь Рустем Махмутович. Революция заканчивается, когда порожденный ею хаос сменяется упорядоченным строем. Или, по европейскому календарю, реставрацией каких-то черт дореволюционного порядка. Но тогда то, где поставить точку, – дело выбора и, если хотите, вкуса исследователя. Окончание Великой французской революции одни историки относили к 1794 году – прохождению ею зенита, другие – к 18 брюмера, наполеоновскому перевороту, третьи – к возвращению Бурбонов в 1815 году, четвертые – к республике 1848 года, пятые – к поражению Парижской коммуны в 1871 году.

В русской революции хаос, в том числе инспирированный самой властью, не раз сменялся так или иначе установленным порядком. Значит, в ее прохождении (или окончании) можно обозначить несколько переломных точек. За таковые можно принять, например, переход к НЭПу, «второе издание крепостного права», истребление прежней политической элиты в 1930-х годах.

Критерием завершения революции Андрей Николаевич считает реализацию ее проекта. Если исходить из этого, русская революция действительно еще не завершена. Потому что и столетие спустя ни одна из ее объективно заданных целей, как настаивает наш докладчик и автор книги, не достигнута. Переход к демократии, правовому государству и новому национально-территориальному устройству не состоялись. Гарантии частной собственности не заложены, более того – уничтожены те, какие уже возникали до революции. Гражданского общества современного типа нет. Как нет и

правового государства и даже авторитарной модели, способной в переходный период обеспечить возврат к правовой стабильности.

Эти и другие объективные задачи революции в России (кажется, их в перечне автора семь), я согласен, не решены. Из этого следует, что либо не получил завершения по классическим (европейским) стандартам революционный проект, либо предусмотренные им изменения реализованы в существенно искаженных правовых формах. Отсюда, в свою очередь, по-видимому вытекает, что вообще революция в России, если ее замахом (объективно!) была модернизация и если отталкиваться от европейских стандартов, не состоялась. Но тогда отдельному обсуждению подлежит такой вопрос: являются ли перечисленные цели, которыми революцию наделяет мирозерцание прогрессивных ученых и либеральной интеллигенции, объективно заданными?

На практике, как показывает Медушевский, был реализован другой проект – ретрадиционализации общества, предусматривавший отказ от достижений предшествующего этапа цивилизационного развития. И, добавим, уведивший в сторону (если не назад) от его мейнстрима. На этом пути возник устойчивый и протяженный конфликт права и идеологии. Носителем мифологической идеологии выступала партия, предписывавшая утверждение (а впоследствии и определенную трансформацию) вариантов советской конституции.

Здесь возникают два следующих вопроса. Во-первых, что происходило с самой партией? Ибо на разных этапах исторического развития она, конечно, не оставалась неизменной по характеру. Трансформация партии не может быть выведена из различий между разными конституционными проектами. Зависимость здесь скорее обратная. Во-вторых, если конфликт распространяется на всю историю советской России, то какие акторы представляли вторую его сторону – право?

Едва ли этой стороной в столь глубоком и продолжительном конфликте могли выступать эксперты-юристы. Их влияние было несопоставимо с «идеологами». Подозреваю, что защитники правовой концепции присутствовали в самой партии. И были они серьезнее, чем периодически подвергавшиеся репрессиям противники режима, на распознавание которых растрчивались безмерные ресурсы. Деятельность защитников права, которых я имею в виду, проходила по коммунистической демонологии и не имела прямого отношения к трем главным концепциям («революционного правосознания», «революционной законности» и «социалистического правопорядка»), вокруг которых ломались копыя.

Автор книги не раз обращается к коллизии между гражданским обществом (ростки которого при советском режиме в лучшем случае строго контролировались, а в худшем затапывались) и конституционным строем. К этой проблеме было привлечено внимание еще русских конституционалистов в начале XX века. Слабость и неукорененность конституционного строя в дореволюционной России (и решительное удаление от него в советских конституциях) они связывали с тем, что конституционный строй с политическими правами и институтами не получил опоры в гражданском обществе.

Расхождение это по традиции, принятой в науке, рассматривается в связи с отклонением исторического пути России от классических европейских стандартов, где распространение и утверждение политических свобод шло параллельно (или даже с отставанием) от институтов гражданского общества и «самостоянья» граждан. Прежде чем распространять на большинство населения политические свободы, необходимо утвердить его в гражданских правах, настаивали многие российские реформаторы. Такова была, в



частности, программа Столыпина, которую он огласил во Второй Думе, но реализовать не успел.

Сейчас эта проблема обрела новое содержание. Появилось множество новых государств. Провозглашение независимости совпало в них с введением такого атрибута демократии как всеобщее избирательное право. Тем самым люди оказались привлечены к решению вопросов, в которых они некомпетентны. Обратного хода – пошагового, ценового вовлечения граждан в политику нет и быть не может. И это привело к продвижению нелиберальной, плебисцитарной демократии с ее угрожающими, труднообратимыми последствиями. Об этом, кстати, бестселлер американского политолога Фарида Закарии. Активные меньшинства овладели технологией конструирования механизмов, посредством которых они мобилизуют большинство своих соотечественников для проведения сомнительных, нередко антиобщественных решений. Так обеспечивается легитимность этих решений и самих режимов, подавляющих свободу.

К приемам нелиберальной демократии оказались восприимчивы некоторые продвинувшиеся по пути развития страны – такие как Россия. Более того, последние события в ряде высокоразвитых стран стали предупреждением, что незначительным большинством можно преодолевать барьеры самосохранения устойчивых демократий. Я бы поставил в этот ряд избрание Трампа в США, хрупкий перевес, который дал референдум за Брексит в Англии, и недавние выборы в некоторых государствах континентальной Европы. Таким образом, конституционное развитие даже там, где оно казалось линейным и необратимым, может давать непредвиденные сбои. Явления такого рода, конечно, должны стать предметом отдельного разговора, но совсем отвлекаться от нового вызова, который брошен современной цивилизации, было бы недальновидно.

Перед Андреем Медушевским стояла еще одна актуальная задача – найти в тщательно прописанной хронике столетней российской политической истории место ее современному периоду. Андрей Николаевич утверждает, что политическая система, возникшая в постсоветской России, – это последовательный отказ от коммунистического тоталитаризма в пользу либеральной демократии. Если бы это было сказано в конце прошлого века, здесь можно было бы поставить точку. Но на исходе второго десятилетия века нового мы не знаем, возникала ли хоть на миг политическая система, необратимо порвавшая с каким бы то ни было тоталитаризмом во имя либеральной демократии. И твердо знаем, что если такая заданность у этой, системы существовала, то цель не была достигнута и вскоре оказалась вообще грубо перечеркнутой.

Решение сделать президента единственным гарантом выхода из конституционного кризиса, продолжает Андрей Николаевич, было ситуативно оправданно. Я готов с этим согласиться. Однако далеко не все участники политического процесса того периода, как известно, до сих пор в этом вопросе едины. При этом для меня по меньшей мере спорно утверждение Андрея Николаевича, что «общая логика развития политической системы» исключала любые альтернативные варианты. Во всяком случае, такое мнение заслуживает специального обсуждения и разбора тех процессов, которые сформировали указанную логику.

Находясь в то время в гуще событий, я так не думал и полагаю, что как раз поиск альтернативного пути был единственным шансом перенаправить путь России в иное русло. Все-таки выбор пути творится не колеей, в которой мы задолго до того оказались, не Конституцией, которая еще только создавалась, а политиками, принимавшими главные решения. Эти люди оказались не на высоте и выбрали из всех потенциальных

возможностей одну наиболее вероятную.

Переходя к характеристике установившегося режима, Андрей Медушевский справедливо выделяет его реставрационную функцию. Только мне трудно согласиться с тем, что реставрируется предреволюционный режим. Дела складываются хуже. Если реставрация, как утверждает автор книги, заимствует у революции ее программу, достижения и цели и отбрасывает ее методы, то наш нынешний режим поступает обратным образом. И потому он не обеспечивает переход к устойчивому поступательному развитию, а ведет страну в исторический тупик.

Андрей Медушевский, правда, обозначает развилку. Он справедливо отмечает, что существует риск утраты обществом даже дореволюционных минимальных конституционных гарантий. Но, утверждая, что подобные режимы могут быть эффективны лишь на коротких дистанциях, пунктирно прочерчивает иной вектор развития: к формированию нового правового сознания, либеральных конституционных институтов и практик и так далее. Однако если мы предусматриваем возможность изменения вектора, то впору задаться главным вопросом: когда возможны изменения, в какую сторону и насколько? Я бы добавил еще: какими общественными силами может быть осуществлен позитивный разворот?

Любые рассуждения об этом, естественно, могут носить предположительный характер. Но к обсуждению этой главной, на мой взгляд, научной и политической проблемы подводит многоплановое исследование, которое представил известный российский ученый, и наша развернувшаяся вокруг его тезисов дискуссия.

### **Игорь КЛЯМКИН:**

Благодарю всех оппонентов. У нас осталось мало времени, но несколько выступлений мы сможем послушать. Попрошу только покороче, не больше трех-пяти минут.

### **Георгий САТАРОВ:**

**«В реальной жизни не существует действий Конституции – существуют действия людей»**

Я по основному образованию математик. Очень жаль, что будущих юристов не знакомят в ходе учебы хотя бы с двумя математическими утверждениями – теоремой Гёделя и теоремой Эрроу. Уже этого знания было бы достаточно для того, чтобы избавиться от веры в существование идеального юридического текста и не вести безуспешно его поиск.

Коллега Святослав Каспэ говорил о прямом действии нашей Конституции. Я иногда читаю юридические тексты. И я пытался разобраться, что такое прямое действие Конституции, найти этому понятию какое-то толкование. И не нашел. То есть что-то нашел, но это было за пределами здравого смысла, то уж точно за пределами не только математической, но и юридической строгости и однозначности.

Задайте себе вопрос, если речь идет о действии Конституции: а существует ли оно? Не существует в природе действий Конституции, существуют действия людей! Только так.

Если мы об этом договорились, то надо понять: каких людей? Это власти? Вы можете себе представить какую-либо власть, формально ограниченную Конституцией прямого действия, но неформально действующую по возможности вне этих ограничений. Будет ли она опираться на прямое действие Конституции? Дальше, додумывая до конца, поймете, насколько это смешно.

Отсюда следует, что если это не власть, то это общество. Это люди, которые в определенные моменты должны обладать возможностью действия только в соответствии с нормами Конституции и никакими иными. Если речь идет о прямом действии, то именно так. Только Конституция и больше ничего.

Скажите, пожалуйста, где, в каких юридических нормах записано, во-первых, это обстоятельство? Во-вторых, если они могут действовать, то вопрос: действовать как? Ответ довольно понятен – действовать в соответствии с нормами законов, которые расшифровывают это положение Конституции. Тогда возникает другой вопрос: а эти нормы кто устанавливает? Ага, их устанавливают все, кто угодно, кроме тех людей, которые должны действовать в соответствии с этими нормами. И это далеко не единственное противоречие, которое вытекает просто из одной крохотной записи, когда даешь себе, так сказать, смелость додумывать некие положения до конца, как это принято в математике или в хорошей философии. Да, философия – это наука о додумывании чего-либо до конца.

Реальность такова, что просто в соответствии с упомянутыми мной двумя математическими положениями никакой набор формальных норм никогда не решает всех проблем, с которыми вы можете сталкиваться в жизни. Сидящие здесь юристы знают это не хуже меня. Отсюда возникает либо соответствующее положение, как в американской Декларации независимости и в Конституции США, где постулируется право народа на смену правительства, узурпирующего власть, либо некое робкое упоминание, что есть Конституция прямого действия.

На самом деле всё, что происходило с правовой и политической практикой в России последние десятилетия, как раз связано с невозможностью апелляции к Конституции, в том числе к этой норме. И поэтому к работоспособности нашей Конституции запись о ее прямом действии не имеет никакого отношения. Тем не менее, в принципе, Конституция работала, однако тогда, когда перед критической ситуацией оказывались не граждане, а власти. Вот, например, политический кризис 1998 года. Был острый конфликт Думы и правительства. И все критики Конституции кричали одно: главное – не трогать Конституцию. И бегали в Совет Федерации, поскольку всё остальное делегитимировалось. А разделение властей было устроено таким забавным образом, что оставался лишь один легитимный орган, Совет Федерации, Зюганов, Явлинский и другие обращались туда.

И, в конце концов, они вышли из кризиса в точности по Конституции. Им всем было страшно ощущать, в каком политическом тупике они в тот момент оказались. Но уроком это не стало, к сожалению. Я имею в виду эффективность нынешней Конституции для решения их проблем; не наших проблем, а их. И потому так и канула в Лету Конституция как основа политического действия.

И еще: конечно, Конституция должна защищать граждан от произвола власти. Но это возможно только при одном условии – когда граждане защищают Конституцию. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну политическую силу, у которой это написано на щите. Ни одной. Назовите хотя бы одну серьезную политическую акцию по защите Конституции

политическими силами. Ни одной. Расскажите, как граждане защищают Конституцию, которая их теперь не защищает.

**Виктор ШЕЙНИС:**

Помните статью 31 о свободе митингов? Ее защищали.

**Георгий САТАРОВ:**

Да, в том числе и Лимонов. Это был перформанс, а не защита. Я в этом убежден.

**Валентин ГЕФТЕР:**

**«Для достижения желаемого результата при революционных изменениях надо понимать, что даже они должны происходить в рамках правовой парадигмы»**

У меня несколько реплик, связанных не столько с дискуссией, сколько с той постановкой вопроса, которую Андрей Николаевич обозначил. Первое, что, речь идет, конечно, не о Конституции и даже не о конституционализме как более широком явлении, а о верховенстве права. Это тот самый краеугольный камень, от которого, наверное, надо танцевать, хотя я согласен, что оно еще менее прописано текстуально и, тем более, с математической строгостью, чем то, что говорилось про прямое действие Конституции. Но, безусловно, по сути, об этом идет сегодня речь.

Возвращаясь к теме доклада, скажу, что меня волнует проблема «революция и право». Насколько это вещи вообще совместные или несовместные? И даже в более узком смысле: возможна ли революция в правовых формах, в правовых рамках, или это оксюморон? Вот в этом смысле, говоря о революции вековой давности, всех событиях 1917 года, я обращаю внимание, что не только большевики разрушили идеал права и правового государства. На самом деле, этот идеал никогда не был даже близок к реализации и на разных предшествующих этапах истории. И, более того, события Февраля, с моей точки зрения, показывают, что не только ни одна политическая сила, но и страна в целом не были готовы к этому переходу в новое состояние. Мы понимаем революцию в трех ипостасях – как смену укладов, как политико-идеологические изменения и, главное, в данном контексте, – как слом государственного устройства, конституционно-правового строя. Сейчас мы рассматриваем только последний элемент. Безусловно, ни Петроградский совет, ни взявшие власть партии с их Временным правительством (пресловутое двоевластие) не были готовы к переходу в правовых рамках от самодержавия к иной форме правления. Это нигде не было даже прописано, а не только воплощено.

И потому, с моей точки зрения, нельзя говорить о том, что одни большевики разрушили право, хотя известно, что представляли собой большевистский переворот в Октябре и подготовка к нему. А что, другие действовали в рамках чуть ли не идеального перехода согласно идеалам права? По сути, действия и тех, и других соответствовали двум моделям государственного устройства, построенным на двух мифах. Только один – миф

социальной справедливости, далекий от права, а другой – миф представительной демократии, который, как верно считает Андрей Николаевич, во многом уже устарел с учетом состояния России к началу XX века. Этот миф тоже не закладывал основы легитимного перехода, своего рода правовой эволюции страны. И дальше можно проследить, почему одно не получилось, хотя тоже было построено на мифе, а другое привело к тому, к чему привело.

И еще два коротких замечания. Знаете, интересно посмотреть, как в правовых рамках происходят переходы, которые тоже можно назвать революциями. Например, 1933 год, переход от Веймарской республики к нацистскому режиму. Он, вообще говоря, с формальной точки зрения, произошел в рамках вполне демократической веймарской Конституции; при этом мы знаем, что впоследствии разрушение правового государства произошло, и знаем, как развивались события в дальнейшем.

А другой пример – 1991 год, когда мы абсолютно не правовым образом изменили государственно-правовое устройство и вообще одну страну на другую. Этот «кейс» показывает, что мы не критично относимся к такой форме подобных транзитов, полагая нормой революционный переход, который якобы и не мог реализоваться в правовых формах, и не рассматривая никакие альтернативы тому, как это произошло в реальности. Я имею в виду, конечно, альтернативы именно правового характера. Напоминаю о готовившемся Союзном договоре и о прочих известных вещах, которые безусловно, существовали как потенциальные возможности.

Итак, последний вывод: правовая парадигма даже революционных изменений (а революционные изменения – это не только отказ от чего-то в том, что превращается в прошлое, это выбор из разных моделей, разных траекторий развития) совершенно необходима. В том смысле, что без нее не обойтись. Вне такой парадигмы можно получить самые неожиданные результаты. Хотя и печальный опыт Германии 1933 года нельзя, конечно, забывать. Спасибо.

**Аркадий ЛИПКИН (профессор РГГУ):**

**«В "вертикальных" системах право вообще вторично, и у всех, кто снизу, есть только обязанности, а не права»**

Мне представляется, что если смотреть на Октябрь 1917-го в контексте трехсот лет российской истории, включая и наше время, то видно: Октябрь – это не революция. То есть это революция в мировом масштабе, точнее, во внешней мировой истории. А во внутренней истории – не революция, а верхушка бунта, так же как и 1991 год. Надо учитывать, что в России (и во многих других не западных странах) сложились системы, так сказать, «вертикальные», где право вообще вторично, где есть «вертикаль власти» и где снизу обязанности, а не права.

Такая система держится на «народной массе», которая делегирует все решения, выходящие за круг повседневных забот, наверх, где располагается место правителя. Важно, что эта система поддерживается не сверху, а снизу. И особенность бунта в том, что он не меняет систему. Он меняет только наполнение этой системы, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Рассматриваемый нами сейчас бунт начинается не позднее 1905 года и кончается где-то в 20-х годах. Кончается чем? Восстанавливается прежняя вертикальная система с другим наполнением. Примерно в 1917 году мятежные

силы сбрасывают то, что было прежде содержанием системы: царя и всё вокруг, что с ним было связано. Дальше начинается гражданская война, борьба за освободившиеся места.

Соответственно, Февральская революция – это процесс из второй подсистемы, характерной для таких вертикальных режимов. То есть Февраль – эпизод на гребне народного бунта. Таким образом, десятилетия с 1917-го до 1991 года – это период между двумя бунтами, после чего воспроизводится всё та же «вертикальная» система. В этом промежутке происходил еще интересный колебательный процесс «реформы – контрреформы», связанный с сопутствующей системой. Добавлю, что подробно я писал об этом в статье «Россия между несовременными "приказными" институтами и современной демократической культурой», опубликованной в журнале *«Мир России»*.

Этот колебательный процесс шел и в Российской империи, где можно обозначить тройку таких переходных волн. Были они и в СССР после войны. В нынешнем нашем цикле они вроде бы пока не отмечены. Спасибо.

**Александр МАДАТОВ (доцент РУДН):**

**«В 90-е годы наметилась тенденция развития российского режима по направлению к рационально-правовому, но вскоре она была прервана»**

Спасибо. Я хотел бы остановиться на двух проблемах. Одна касается легитимности власти, которую мы получили в результате Октября. Насколько вообще легитимна была революция и к какой форме легитимности относить советскую власть?

Все мы знаем хрестоматийные веберовские три типа легитимного господства: рациональное, традиционное и харизматическое. Сам Вебер указывал, что это идеальные типы и ни один из них не встречается в чистом виде. Вместе с тем когда мы обращаемся к революции, то понимаем, что, с одной стороны, любая успешная революция является легитимной. А с другой стороны, естественно, любая революция выходит за рамки той формы легитимности, о которой говорил Вебер, то есть формы легально-правовой.

Часть тех людей, которые были движущей силой Февральской революции, выступали за правовое государство, представляли либеральное крыло Государственной Думы и Временного правительства. Но в то же самое время восторженно принявшая революцию матросня убивала городских и «золотопогонников». Так воспринимали свободу.

И в российском социуме мы видели это в 90-е уже годы. Для кого-то свобода действительно воспринималась как право делать всё, что не запрещено законом, в либеральном духе. А для кого-то свобода и в лихие 90-е, и сейчас – это вседозволенность.

И, конечно, если мы говорим о легитимности, то какая форма легитимности у советского режима? Естественно, она далека от легальной рациональной, разве что квазилегальная плюс харизма? И то харизма только у Сталина, потому что после Сталина, кстати, не было ни одного харизматического лидера за исключением начального периода ельцинского правления. Но это уже не советский период. Другое дело, что это была идеологическая легитимность плюс насилие, элемент принуждения. А в 90-е годы наметилась тенденция развития режима по направлению к легально рациональной форме, но эта тенденция вскоре была прервана.

Нынешняя Конституция, которая была принята в 1993 году в конкретной ситуации политического кризиса, о чем в этой аудитории на разных обсуждениях многие говорили, была для своего времени шагом вперед. Государственная Дума второго созыва (1995–1999 годы) была в значительной мере оппозиционной по отношению к президенту, прокоммунистической, и всё в соответствии с Конституцией. Нынешняя Дума, избиравшаяся по той же Конституции, уже пропрезидентская. Александр Ручкой в октябре 1993-го призывал к физическому уничтожению Ельцина, а через три года он был избран губернатором Курской области в соответствии с Конституцией. В нынешних условиях это возможно в соответствии с той же самой Конституцией? Нет, однозначно нет. Хотя Конституция, повторяю, у нас одна и та же.

Поэтому, конечно, необходимы конституционные реформы, но не всё сводится к Конституции. Тут роль играют в основном другие факторы. Спасибо за внимание.

### **Игорь КЛЯМКИН:**

Спасибо. Все желающие выступили. У Андрея Николаевича есть возможность отреагировать на высказанные в ходе дискуссии суждения.

### **Андрей МЕДУШЕВСКИЙ:**

Спасибо большое всем выступавшим. Признателен за интерес к моим идеям и к представленной книге. Прошло сто лет с начала революции 1917 года. И общество сегодня, по сути, расколото по отношению к этому событию. В современной России приняты самые разные, а часто противоположные оценки революционного мифа, созданного на основе этой идеологии государства, причин его крушения и принципов формирования новейшей политической системы. И преодоление этого раскола возможно при выработке научной концепции революции, анализа исторического опыта и его последствий.

Научная концепция означает отказ от чисто идеологических и эмоциональных оценок, доминировавших в прошлом, обсуждение методов, понятий и верифицируемых утверждений. Примером такого подхода, по-моему, может служить наше сегодняшнее обсуждение. Мне кажется, здесь был поставлен ряд важных проблем.

Я учился в 10-м классе, когда отмечалось 60-летие революции. В тот же год была принята брежневская Конституция «развитого социализма». И одновременно усилились репрессии против диссидентского движения. Я пытался, помню, связать эти три факта и понять логику их соотношения. Было ясно, что советская концепция революции не соответствует реальности, что общество основано на тотальном подавлении свободы и на двоемыслии. Так я начал читать классические труды о европейских революциях и те публикации, которые были тогда доступны, о русской революции.

В дальнейшем этот интерес подкреплялся осмыслением Китайской революции и созданного ею режима, революциями в Иране, Афганистане, Латинской Америке. Альтернативу данной модели разрешения социальных конфликтов представляли демократические революции в странах Южной Европы – переходные процессы в Португалии, Испании и Греции 1970-х годов. Развилки намечались и внутри

коммунистического движения; например, Пражская весна или течение «еврокоммунизма». Затем наступила эпоха антикоммунистических движений и революций в странах Центральной и Восточной Европы, кризис СССР, волна политических изменений на постсоветском пространстве. Русская революция 1917 года в значительной мере запустила эти процессы.

Моя книга – попытка подытожить собственные размышления по этому вопросу. Я сформулировал в ней свою концепцию революции. Мне кажется, нашему обществу необходимо освободиться от наслоения мифологических конструкций, выдвинутых сторонниками и противниками революции в разное время. Современная отечественная (а в значительной части и международная) литература практически не предложила трактовки, которая выходила бы за рамки оценок, дававшихся современниками событий. И в общественном сознании, и, увы, в научном сообществе у нас по-прежнему господствуют мифы, которые были сформированы в эпоху революции, или пришедшие им на смену.

Одни авторы, следуя официальной революционной формуле, продолжают говорить о революции как о фатальной неизбежности, «исторической закономерности» или предопределенном выборе. Другие повторяют тезис контрреволюционной (в основном эмигрантской) историографии, расценивая революцию как «смуту», видя причину крушения российской государственности в неблагоприятном стечении обстоятельств, а то и в теологических причинах. Научная концепция подменяется нарративом, объяснение уступает место эмоциональным оценкам, а вывод – визионерским утверждениям. Поэтому для меня так важно постараться понять механизмы революционных процессов, выстроить систему понятий, которые можно обсуждать на доказательном уровне. Этим объясняется обращение к теории и методологии когнитивной истории, определение проблемы (когнитивно-информационные механизмы взаимодействия норм, институтов и форм социальной мобилизации), выбор основного массива источников – формализованных, сопоставимых и доказательных для решения проблемы (принятые программные документы, политические конституции и архивы Конституционных комиссий, занимавшихся их выработкой). Я ограничил исследование периодом действия революционной легитимирующей формулы, – от ее принятия в 1917-м до отказа от нее в 1991-м.

Кроме того, мало освещена конституционная история революции. Во-первых, об этом мало что известно – те авторы, которые принимали советский режим, не дали ничего нового за рамками его официальной политико-правовой доктрины (и не могли дать в силу идеологических и цензурных ограничений). Те авторы, которые отвергали режим, рассматривали (вполне основательно) его конституционные формы как несущественные или даже вводящие в заблуждение. Наконец, те немногие иностранные (или эмигрантские) авторы, которые уделяли этим вопросам определенное внимание, не имели доступа к огромному массиву архивных документов, отражающих конфликтную динамику советского конституционного строительства. Мне хотелось представить исследование номинального советского конституционализма как целостного феномена. Тем более что эта проблематика связана с перспективами конституционных реформ. Ретроспективный взгляд на российский конституционализм, решение вопроса о влиянии советской легитимности на современный конституционный строй и обсуждение с этих позиций перспектив его реформирования, безусловно, актуальны.

Какие же проблемы обозначены в ходе сегодняшней дискуссии?

Одна из них поставлена Михаилом Красновым: как соотносить идеал права и те версии



понимания права, которые существуют в современном мире? Удобно рассуждать о праве с позиций идеала и рассматривать в качестве правовых только те системы, где этот идеал близок к осуществлению. Можно отбросить те режимы, где правовая система несовершенна, деформированна или вообще не состоялась. Такой подход, на мой взгляд, допустим для моралиста, философа или теоретика права. Результатом станет сопоставление различных трактовок принципов демократии, справедливости, свободы и возможностей их выражения в конституционных и судебных институтах состоявшихся демократических государств.

Подобный подход, думаю, однако, неприемлем для социолога, видящего свою задачу в анализе правового развития недемократических, переходных или авторитарных режимов. А их едва ли не большинство в современном мире. В этом смысле Россия не исключение, а скорее правило. Поэтому ограничить круг изучаемых правовых явлений идеальными их образцами, то есть меньшинством современных государств, это, по сути, уход в теорию при игнорировании неблагоприятной и раздражающей проблематики реальных современных обществ.

Сама теория права не едина в решении этого вопроса. Если выйти за рамки философии естественного права (отождествляющей его с идеалом справедливости), придется принять тезис нормативистской доктрины. Согласно ей, право – это действующий закон, который вовсе не обязательно соответствует идеальной его трактовке. Интерпретация права как реальности не предполагает его оценки с позиций справедливости или означает иное понимание самой справедливости. В этом контексте диктаторское право большевиков и его окончательное закрепление в формуле Вышинского не слишком далеко уходит от нормативистской теории Ганса Кельзена.

Наконец, теория юридического реализма допускает, что эффективность права можно оценивать с учетом тех целей, которые оно преследует. На этой основе сформировалось такое направление как юридическая антропология, один из приоритетов которой – функционирование правовых и даже квазиправовых подходов в обществах традиционного типа, а также анализ разного рода дисфункций в правовом развитии. Такой инструментарий применяется сегодня при изучении многих недемократических режимов с их имитационными конституциями.

Да, в России сохраняется беспрецедентный разрыв между правовым идеалом и реальностью. Но наша задача не декларировать это, а объяснить. Необходимы новые подходы и критерии правовой науки, позволяющие анализировать неправовые феномены, отступления от права и дисфункции его применения.

Рустем Нуреев справедливо говорил о синтезе власти и собственности, который исторически присущ России. Эта черта многое объясняет в формировании советского политического режима, в частности номинальность светского права. Я писал об этом в некоторых своих работах. Но книга, которую я представляю сегодня, посвящена не столько возникновению советского феномена, сколько тому, каким образом его специфика отражена и реализуется в праве.

В 2014 году в «Либеральной миссии» прошла дискуссия на тему, опора или преграда российская правовая традиция. В своем докладе я тогда утверждал: пока мы не объясним советскую социальную специфику в точных и универсальных правовых категориях, мы не сможем анализировать ее в сравнительной перспективе и доказательно обсуждать отклонения. Старая русская юридическая школа занималась этой проблематикой и накопила полезный опыт. Целесообразно применить его при изучении категорий

советского права, если мы не хотим просто отбрасывать его как «неправо».

Для этого я вводил категории римского права – говорил о кондоминиуме (совместной собственности), публичном сервитуте (для характеристики земельно-правовых отношений между государством и обществом), сравнивал положение колхозников с колонами Римской империи или государственными крестьянами в Российской империи (фактическое прикрепление к земле и повинностям при формальном сохранении личной свободы). Мы обсуждали даже положение советских заключенных в категориях крепостного права и рабовладельческого права, показывая особенности их правового статуса. С тех пор я не услышал никаких новых предложений в рамках этой дискуссии.

В этой ситуации воспроизводить общие социологические схемы целесообразно только вместе с их детализацией в рамках правовых категорий, определяющих статус отдельных социальных групп или их функций в обществе. Сравнительно-правовой анализ, на мой взгляд, должен предшествовать социологическому анализу и даже лежать в его основе, поскольку право дает нам общую рамку нормативного порядка и проекцию этих норм в конструировании социальных отношений – конструировании, которое, бесспорно, было уникальным в Советском Союзе, но остается не проанализированным в должной мере. Это вполне относится к нормам номинального конституционного права – они, конечно, не были правовыми в собственном смысле слова, но действовали постольку, поскольку это было нужно политической системе (я использую термин «политические конституции»).

С этих позиций я решаю и вопрос о соотношении революции и эволюции. Революция – не просто отказ от старой системы позитивного права, но создание новой, и она продолжается столько, сколько требуется для социальной и когнитивной адаптации общества. Если этого не происходит, например в силу нереализуемости новых норм (как это было продемонстрировано советской институциональной анархией), то общество отвергает их и принимает другую стратегию нормативного конструирования. Критерием разделения революции и эволюции служит, следовательно, фиксация и институционализация норм в рамках установленного правового порядка.

Отдельный комплекс проблем – взаимосвязь общества и Конституции, социально обусловленный тип правосознания. Можно подходить к этому с антропологической точки зрения, как делает Святослав Каспэ. Однако надо решить, что первично. Антропологический тип определяет правосознание либо структура правовых норм задает стандарты культурной и социальной адаптации, формирует поведенческие установки и реакции?

В истории человечества есть примеры неподвижных цивилизаций, где существовала прочная связь индивида с его местом в социальной иерархии и выполняемыми функциями. В них правовая стабильность (опиравшаяся на религиозные принципы и нормы обычного права) основывалась на инерции, исключала социальную динамику в правовых формах. Подобный тип правовой стабильности во многом связан с теократическим типом государств. Легитимирующая формула там в принципе не могла ставиться под сомнение. Советская модель государства может быть определена как светская теократия. Легитимирующую основу режима составляла идеология, выступавшая своего рода эрзацем религии. Но она основывалась на рациональных постулатах, берущих начало в идеологии европейского Просвещения, и ставила задачей не поддержание стабильности, а именно преобразование общества.

Этим объясняется связь номинально-правовой нормативной конструкции и ее модификаций с мобилизационными функциями режима. Масштаб насилия и репрессий, проводившихся системой в условиях тотальной власти, определялся не антропологическими свойствами социума, но целями социального конструирования. Можно сказать, что рациональные методы использовались для достижения иррациональных целей. В этом отношении Россия пошла, вероятно, дальше других стран, но не является исключением, если вспомнить десятки примеров тотальных идеократических режимов на всех континентах в XX веке, не говоря о более архаичных их формах. Переведение обсуждения этих форм в этическую плоскость, конечно, возможно, но мало дает для их социологического понимания. Трудно измерить пропорции добра и зла и установить их связь с различными типами правового регулирования.

Более продуктивен путь выявления взаимосвязей правосознания общества с фиксацией тех или иных конституционно-правовых норм. На это справедливо обратил внимание Игорь Орлов. В книге я реконструирую выдвигавшиеся конституционные проекты, позиции по ключевым нормам и когнитивные установки разработчиков, влиявшие на их принятие. Общая картина правосознания общества устанавливается по материалам так называемых всенародных обсуждений конституций. Я рассматриваю этот институт как вполне оригинальный, даже уникальный в истории. Он не тождественен обычной пропаганде (поскольку действительно предусматривалась двусторонняя связь), референдумам или плебисцитам (предполагающим наличие фиксированного круга вопросов), а также традиционным конституантам (поскольку его целью не было принятие текста Конституции).

Наиболее точное определение этого института – политический пиар, говоря современным языком. Его функциями, помимо легитимирующей и мобилизационной, направленных на конструирование позитивного имиджа режима в момент его консолидации, были зондаж общественных настроений, выявление инакомыслящих и выяснение их взглядов. Наряду с предсказуемыми апологетическими откликами в архивных подборках «для служебного пользования» представлен широкий спектр мнений, в том числе «враждебных», резко критических по отношению к власти.

Эти материалы показывают помимо прочего, что советское общество отнюдь не было монолитным. В нем подспудно разрабатывались разнообразные концепции демократии, собственности, федерализма, парламентаризма, многопартийности, различные конструкции президентской власти, судебной системы и прокуратуры; многие не принимали гонений на религию, коллективизации, репрессий и арестов. Сопоставляя данные подобных обсуждений советских конституций, можно увидеть динамику общественных настроений. Кстати, их анализ, в том числе и протестных позиций, оказывал определенное влияние на ход внутренних дебатов в Конституционных комиссиях. Бесспорно, обсуждения были фикцией, система подавляла личность, но были личности, которые не только не вписывались в систему, но даже выступали против нее, причем на уровне отрицания легитимирующей формулы власти. Нельзя не учитывать это «пассивное сопротивление» режиму при изучении номинального советского конституционализма.

Валентин Гефтер задал вопрос о соотношении права и революции. Сформулирую проблему так: может ли быть правовая революция или революция в праве? Самый короткий ответ очевиден – право и революция не совместимы, поскольку ни одна правовая система не может принять и тем более закрепить нарушение права с использованием насильственных (антиправовых) средств. Исключение составляет известная доктрина о праве на сопротивление тирании, о чем здесь вспоминали. Она есть

в некоторых конституциях, например в Основном законе ФРГ. Но она подразумевает, скорее, защиту права от нарушений со стороны власти. В условиях революции представлен конфликт права и силы, которая в случае своей победы создает новое право, а старое объявляет нелегитимным. Так произошло в ходе Февральской революции и Октябрьского переворота.

Если говорить о таком понятии как «революция в праве», то оно означает радикальное переосмысление правовых норм с учетом изменений в правосознании общества. Эти изменения могут иметь как позитивный характер (новое толкование Конституции США после отмены рабства), так и негативный. Типичный пример последнего – судьба Веймарской республики. Трансформация Конституции в период нацизма осуществилась без ее отмены, в результате нового истолкования ее принципов и принятия новых законов, открывавших путь для установления диктатуры. Дело, думаю, не столько в соблюдении формальных конституционных процедур, сколько в состоянии общественного правосознания – воспринимает оно или нет изменения как легитимные.

Пример, демонстрирующий трудность проблемы правосознания и когнитивного выбора, – борьба за конституционную демократию в СССР. Известно, что в 1965 году диссиденты вышли на Пушкинскую площадь с лозунгом «Соблюдайте собственную Конституцию!». Но этом основании одни исследователи полагают, что диссидентское движение в тот период в целом стояло на социалистических позициях, исходило из того, что советская конституция вполне приемлема и надо лишь заставить власть соблюдать ее. Другие утверждают, что этот лозунг изначально означал тактический ход оппозиции, направленный на дискредитацию номинального конституционализма. Предпринимался подрыв легитимности системы, исходя из ее же собственных принципов.

В зависимости от того, какую интерпретацию мы примем, мы должны будем по-разному оценить диссидентское движение, масштабы протеста, отношение инакомыслящих к Конституции и так далее. Отсюда возможны разные стратегии преодоления конфликта – революционным или эволюционным путем, то есть путем отрицания существующей политико-правовой системы или путем ее частичной корректировки. Это показывает значение фактора правосознания – когнитивных позиций в отношении нормативной системы и принципов ее действия. В ситуации когнитивного выбора речь идет не только и не столько о том, что из себя представляют нормы, но, как говорил Георгий Сатаров, о выяснении того, кто эти нормы устанавливает и соблюдает. То есть что это за люди и какие цели они преследуют.

В этой связи отмечу, что я старался показать в книге вариативность социального конструирования и выбор стратегии конституционного проектирования. Советская политическая власть не просто фиксировала в конституциях то, что считала нужным. Она моделировала социальные отношения исходя из поставленных целей. Горизонт проектирования определялся в первую очередь идеологией, но это не исключало использования конституционных норм для политического маневрирования.

Известное определение оппозиции сталинской системы как термидора русской революции (неверное фактически) было учтено в конституционном конструировании. Системе придали атрибуты внешнего сходства с западными парламентскими режимами, позволявшими предположить, что русская революция развивается по логике французской, а следовательно, может стать союзником западных демократий в борьбе с фашизмом. Включение в Конституцию положения о роли коммунистической партии делало возможным предположение, что СССР способен двигаться в направлении правового

государства. И так далее.

Последовательная адаптация системы к внешним и внутренним вызовам фиксировалась в конституционном дизайне, отражавшем приоритеты и динамику режима однопартийной диктатуры. Однако это не свидетельствует о правоте детерминистов. Ведь, в конечном счете, именно внутри системы сложились предпосылки, сделавшие возможным «фактор Горбачева», на что справедливо указывает Виктор Шейнис.

Итак, реконструкция революционной легитимирующей формулы советского режима на протяжении ее действия включает анализ конституционных норм, их политической интерпретации, соотношения формальных и неформальных практик, на всех этапах отражающих определенную вариативность выбора в рамках заданных идеологических приоритетов, параметров правового конструирования реальности и тактических целей поддержания господства.

### **Игорь КЛЯМКИН:**

Я все же не понял, почему задачи, перечисленные вами в докладе как нерешенные, вы считаете принципиально решаемыми. Если раньше это не получалось, то почему может и должно получиться? Появились какие-то новые факторы, решению благоприятствующие? Мне представляется, что наше мышление по инерции руководствуется макроисторическими финалистскими схемами, которым подчиняется исторический процесс. Раньше была схема, согласно которой коммунизм неизбежен, теперь схема, согласно которой либерализм неизбежен. А ваш, Андрей Николаевич, исторический оптимизм относительно решаемости ранее не решаемого чем мотивируется?

### **Андрей МЕДУШЕВСКИЙ:**

Я считаю, что мы все время сталкиваемся с ситуацией самореализующегося прогноза. Мы задаем некую схему и в итоге ее получаем. Но ведь, задавая рамки социального конструирования, мы уже закладываем алгоритм решения задачи. Поэтому проблема конституционного проектирования, на мой взгляд, состоит в когнитивном редукционизме современной политической элиты, а также, между прочим, и либеральной общественности. Для человеческого сознания свойственно при решении новых задач использовать привычные схемы и установки, не говоря об инструментах и практиках. Возникает стремление облечь новое содержание в старые формы и свести преобразования к стереотипным реакциям на них.

В действительности выбор вариантов гораздо богаче: реальностью является мнение, которое разделяет больше двух человек. Конечно, это психологическая реальность, но она может при известных обстоятельствах стать социальной и конституционной реальностью. Сопоставляя революционные кризисы XX столетия, мы видим, что выход из них может быть разным и не подчиняется единым правилам. В одних случаях революционный хаос завершается демократической консолидацией и принятием устойчивых правовых правил игры. В других, напротив, конфликт ведет к тотальной деструкции системы с последующим восстановлением ее в более жестких авторитарных формах.

Вариативность выбора, следовательно, заложена уже в начальной стадии социальной

трансформации. А конечный результат вовсе не предрешен, но зависит от способности политической элиты управлять конфликтом или, по крайней мере, не допускать худшего сценария. Тот срыв системы, который мы наблюдали дважды за одно столетие – в 1917-м и 1991 годах, означает для меня только то, что элита не смогла решить задачи трансформации политической системы приемлемым образом. Ссылаясь при этом на общесоциологические закономерности, исторические особенности русской власти, эффект колеи, внешние трудности (которые были в одном случае, но не в другом), конечно, можно. Но это объяснение никогда не будет исчерпывающим, если мы игнорируем вариативность выбора и механизмы его совершения.

В книге я специально анализировал эти механизмы, показав, где реформаторами были допущены ошибки и как могла развиваться ситуация в случае их своевременного исправления. Речь идет при этом не о гипотетической вариативности как чистой «игре ума», но о тех альтернативных стратегиях политико-правового конструирования, которые помогли успешно преодолеть трудности того же типа в других странах. В целом можно говорить, что для успеха преобразований такого масштаба критически важен ряд факторов. Это решение проблемы легитимирующей формулы власти; наличие консолидированной реформаторской элиты; научно обоснованный план реформ и стратегия их проведения; создание институтов, обеспечивающих воспроизводство консенсуса в расколотом обществе; постоянный мониторинг общественных настроений. Понятно, что важно учитывать фактор времени и быть готовыми к быстрому применению нестандартных технологий защиты от деструктивных течений.

При таких условиях вполне реально предсказуемое конструирование норм, институтов и форм социальной мобилизации, обеспечивающих устойчивое правовое развитие общества.

Как показывает опыт, реформаторы, неожиданно приходя к власти, оказываются неспособны выполнить свою историческую миссию, если у них нет плана преобразований и программы его претворения в жизнь. Создание такого плана или проекта, положения которого разделяются мыслящей частью общества, – предпосылка успеха. Это подтверждается опытом стран, уже совершивших демократический транзит. Сам факт его существования есть когнитивный выбор части профессионального сообщества, способной к моделированию ситуации и вариантов развития. А активное участие в его детальном обсуждении и продвижении – основа консолидации будущей элиты либеральных реформ. Спасибо за внимание.

**Игорь КЛЯМКИН:**

**«В оптимистическом послые насчет утверждения в России конституционализма мне недостает соотнесения этого послыа с социальной и культурной реальностью»**

Спасибо большое. Будем завершать. На мой взгляд, было интересное обсуждение очень важной и актуальной темы. Андрей Николаевич сделал то, что до него не делали, – вычленил и рассмотрел конституционно-правовую составляющую российской истории последнего столетия. Это актуально, ибо по-прежнему остается открытым вопрос о том, почему конституционное творчество так и не привело к утверждению в России конституционализма. Конституционные проекты были, конституционные тексты утверждались, обретали статус Основного закона, а конституционализма как не было, так и нет, правового государства как не было, так и нет. Андрей Николаевич ввел эту

проблематику в академическую повестку дня, за что мы должны быть ему благодарны. Но я не думаю, что в обозримой перспективе можно рассчитывать на то, что она, проблематика эта, станет предметом широкой общественной дискуссии.

Идея права даже в продвинутом сознании укоренена сегодня не больше, а, может быть, и меньше, чем во времена Богдана Кистяковского. Принцип конституционализма как не был востребован обществом сто лет назад, так не востребован и теперь. Можно пробовать эту невостребованность обойти, объясняя повторяющиеся поражения конституционного принципа субъективной несостоятельностью проектантов правовой государственности, можно задним числом искать и находить у них ошибки, но ведь ошибки, если они воспроизводятся, сами нуждаются в объяснении.

Я не случайно по ходу дискуссии обратил внимание на введенный Андреем Николаевичем термин «вынужденные ошибки». Это оксюморон. Если ошибка чем-то вынуждается, это значит, что причина ее не во мне, что безошибочное – с точки зрения моих принципов – поведение для меня невозможно, а потому и нельзя отступление от них считать ошибкой. Казалось бы, констатация вынужденности должна сопровождаться переносом внимания именно на эту вынужденность и ее описание, но в логике Андрея Николаевича такая констатация чужеродна, а потому и не может стать предметом анализа. Это логика вариативности истории, которая не только в настоящем, но и в прошлом могла быть иной, чем оказалась, а если иной не стала, то иного объяснения, кроме ошибок ее делателей, придумать нельзя. Упоминание о вынужденности – невольное признание правомерности другой логики, впускание ее в свою, где ей, однако, суждено остаться инородным телом. В противном случае пришлось бы усомниться в самой мысли о вариативности, в возможности ее обосновать применительно не только к прошлому, но и к настоящему. И тем самым признать, что культурная почва для конституционализма в России за сто лет плодороднее не стала. Или доказывать, что стала. И спорить с профессором Святославом Каспэ, полагающим, что почва эта в советскую эпоху совсем истошилась.

Я с констатациями Святослава Игоревича во многом согласен. Но его рецепт спасения («продолжить подражать нормальным людям») мне не очень понятен в смысле соотнесения с наличной реальностью. Кто подражает этим нормальным людям, живущим, как понимаю, за пределами России? Кто намерен им подражать? Пока наблюдаю иные настроения: они нам не указ, мы другие и не хотим быть на них похожими. А те, для кого указ, меняют место жительства. И получается, что наша мысль опять же поперек реальности и ее тенденций, что свидетельствует о глубоком кризисе мысли, производном от кризисного состояния самой реальности, в которой возобладали регрессивные тенденции.

Тут же еще и о том вопрос, что получается, когда подражаем. В 90-е подражали и их рынку, и их политическим институтам. Конституцию, о которой шла сегодня речь, тоже написали на манер французской, но с некоторыми коррекциями. В итоге, как и во всем прочем, получилась карикатура на то, чему подражали. И вот уже Михаил Александрович Краснов объясняет нам, что самое большое безобразие утвердившейся в стране политической системы заключается в том, что она, в отличие от системы советской, апеллирует к праву и использует правовые процедуры. А в чем безобразие?

Напомню, что на свой первый президентский срок Путин шел с идеей диктатуры закона. Соединение этих двух слов – опять же оксюморон. Потом слова забыли, но именно они лучше всего выражают суть того, о чем сказал Михаил Александрович. Диктатура – это власть, законом не ограниченная. Диктатура закона – это диктаторская власть,

использующая закон как свой инструмент. Независимо от того, соответствует этот закон Конституции либо не соответствует. Такое вот подражание принципу верховенства права. А чтобы не только во власти, но в обществе был сколько-нибудь широкий запрос на иное подражание, я пока не замечал.

В заключение еще раз хочу сказать, что очень высоко оцениваю работу Андрея Николаевича Медушевского. И дискуссия по его докладу была содержательной. Но в оптимистическом послы докладчика и некоторых выступавших насчет утверждения в России конституционализма мне недостает соотнесения этого послы с социальной и культурной реальностью. Как с прошлой, так и с нынешней.

На этом завершаем. Еще раз всех благодарю.

Copyright © 2008. Фонд “Либеральная миссия”. Все права защищены.